

Уилки
КОЛЛИНЗ

Тайна



В романе «Тайна» Уилки Коллинза раскрывается интрига вокруг обманного удочерения аристократкой ребенка своей служанки. С большим талантом и психологической глубиной описываются связанные с этим чувства настоящей матери и ее дочери.

Уилки Коллинз

ТАЙНА

Глава I. 23-Е АВГУСТА 1829 ГОДА

— Вряд ли переживет она эту ночь?

— Взгляни на часы, Джозеф.

— Десять минут первого: пережила!

Дождалась десяти минут нового дня.

Эти слова были произнесены на кухне большого сельского дома, на западном берегу Корнуэлла. Собеседники были двое из слуг капитана Тревертона, флотского офицера и представителя одной из старинных фамилий. Оба говорили шепотом, подсев поближе друг к другу и вопросительно поглядывая на дверь.

— Плохо, — проговорил старший из них. — Сидим одни, темно, мертвецом пахнет, считай себе минуты, пока господь Бог по душу пошлет.

— Роберт! — проговорил другой еле слышным голосом. — Ты служишь здесь с детства... Слышал ли ты, что до замужества она была актрисой?

— Ты почему знаешь? — резко спросил старый слуга.

— Сс! — перебил другой, поспешно встав со стула.

В коридоре прозвенел колокольчик.

— Нас, что ли? — спросил Джозеф.

— Не знаешь по звуку, который звенит? — презрительно отвечал Роберт. — Это колокольчик Сары Лизон, погляди в коридор.

Джозеф взял свечку и повиновался. Отворив кухонную дверь, он увидел на противоположной стене длинный ряд колокольчиков, над каждым, черными литерами, было написано имя призываемого. Ряд начинался дворецким и буфетчиком, кончался судомойкой и рассыльным.

Поглядев на колокольчики, Джозеф сразу увидел, что один из них был еще в движении; над ним было написано: горничная леди. Джозеф пробежал коридор и на конце его постучался в высокую дубовую дверь старинного пошиба. Отзыва не было: Джозеф отворил дверь и посмотрел в комнату — она была темна и пуста.

— Сары нет в кастелянской, — сказал он, возвратившись на кухню к своему товарищу.

— Стало быть, она в своей комнате, — заметил Роберт. — Взойди наверх и скажи ей, что ее зовет леди.

Колокольчик опять зазвенел, когда Джозеф выходил из кухни.

— Скорей! Скорей! — крикнул Роберт. — Скажи ей, чтобы поторопилась... зовет! — прибавил он потом. — Может быть, в последний

раз!

Джозеф пробежал три колена лестницы, обогнувшей длинную галерею со сводами, и постучался в другую дверь, также дубовую и также старинную. На этот раз ему ответили. Чистый и мягкий голос прозвучал: кто там? Джозеф поспешно объяснился. Не успел он кончить, как Сара Лизон встретила его на пороге со свечой в руке.

Невысокая ростом, не очень красивая, не в первой молодости, с робкими приемами, одетая безукоризненно запросто, горничная леди, несмотря на все это, была такою женщиною, что на нее нельзя было взглянуть без любопытства, если не без участия. При первом взгляде на нее немногие могли бы удержаться от вопроса: кто это такая? Немногие удовлетворились бы ответом: горничная мистрисс Тревертон; немногие удержались бы от поползновения прочесть на ее лице какую-то тайну, и, конечно, уже никто не усомнился бы, что эта женщина выдержала когда-то страшную жизненную пытку. В ее осанке, и еще более в ее лице, все как будто говорило жалобно и грустно: «Я развалина того, чем вы некогда любовались, развалина без ухода, без поправки, развалина незаметная, обреченная пасть с губельного берега в бездну всесокрушающего времени». Вот что можно было прочесть на лице Сары Лизон — и ничего

более.

Едва ли нашлись два человека, согласные в мнениях насчет Сары; до того трудно было решить — телесная или душевная мука сразила ее? Та или другая, только следы по себе она оставила. Щеки Сары опали и слиняли, подвижные, изящно очерченные ее губы болезненно побледнели; большие черные глаза, напрасно осененные густыми ресницами, словно застыли: так беспредметен, жалобен и страдателен был их взгляд. Впрочем, и сильная грусть, и тяжелая болезнь оставляют на больных почти такие же следы. Особенность неведомого недуга Сары состояла в противоестественной перемене цвета ее волос, они были густы, мягки и кудреваты, как волосы молодой девушки, но поседели, как у старухи. Странно противоречили они всем признакам юности, присущим ее лицу. Несмотря на всю болезненность и бледность, никто не мог бы сказать, что это лицо — лицо старухи; на бледных щеках не было ни морщинки, в тревожных, робких глазах искрилась и светилась чистая влага, высыхающая под старость; кожа на висках была гладка, как у ребенка. Все эти и другие, никогда не обманывающие признаки, свидетельствовали, что для нее только еще прошла весна: не глядя ей в лицо, можно было сказать, что это женщина лет тридцати; взглянув в лицо, можно было сказать без

парадокса, что ее седые волосы были ужасною несообразностию и что она более походила бы сама на себя, если бы они были выкрашены. В этом случае искусство было бы естественнее природы, потому что природа казалась неестественной. Каким морозом побило эти роскошно завитые кудри? Смертный недуг или смертное горе подернули их инеем? Эти вопросы не раз проходили в голове капитанских слуг, пораженных странностью ее наружности, да еще тем, что у нее была закоренелая привычка — говорить с самой собою. Но любопытство их не было удовлетворено ни разу: ничего не узнали они, кроме того, что Сара Лизон, говоря попросту, вставала на дыбки, если заговаривали о ее седых волосах и о привычке говорить с самой собою, да узнали еще, что сама госпожа ее запретила всем, начиная с мужа, беспокоить Сару каким бы то ни было вопросом об этом предмете. В замечательное утро двадцать третьего августа Сара одно мгновение простояла, словно немая, перед призывавшим ее служителем; свечка озарила ее ясно большие, неподвижные черные глаза, а над ними — густые неестественно седые кудри. Мгновение простояла она молча; ее рука дрожала так, что гасильник чуть не соскакивал со свечки; но это было только мгновение: Сара опомнилась и поблагодарила слугу, позвавшего ее к смертному одру госпожи. Смушение и боязнь,

звучавшие в ее голосе, кажется, придавали ему еще более приятности; торопливость ее приемов несколько не уменьшила их обычного изящества, благородства и женственности.

Джозеф, как и другие слуги втайне не доверявший Саре и не любивший ее за то, что, — по его понятиям, — она не была похожа на прочих горничных, был поражен в это мгновение наружностью Сары и звуком ее голоса. Она покачала головой, поблагодарила его еще раз и быстро прошла мимо по галерее. Спальня умирающей мистрисс Тревертон была этажом ниже; Сара в нерешимости остановилась перед дверью, наконец постучалась, и дверь была отворена капитаном Тревертоном.

Взглянув на своего господина, Сара отшатнулась. Если бы ей грозил смертельный удар, она, вероятно, не отступила бы быстрее и с большим выражением ужаса на лице. Впрочем, в чертах капитана Тревертона не было ничего такого, что могло бы навести на мысль о его жестоком или даже просто грубом обращении с людьми: с первого взгляда можно было смело сказать, что этот человек ласков, сердечен и откровенен. На глазах его еще блестели слезы, вызванные страданиями любимой жены.

— Войдите, — сказал он, отвернувшись. — Она не хочет сиделки: ей нужно только вас.

Позовите меня, если доктор... — Голос его сорвался, и он поспешно вышел, не окончив речи.

Сара Лизон, вместо того чтобы войти в комнату своей госпожи, обернулась и начала пристально глядеть вслед капитану, пока не потеряла его из виду; щеки ее побледнели, как у мертвой, в глазах выражались сомнение и ужас. Когда капитан скрылся за поворотом галереи, Сара прислушалась у дверей спальни, боязливо прошептала про себя: «Неужели она ему сказала?» Потом отворила дверь, сделав видимое усилие над собою, постояла мгновение на пороге и вошла.

Спальня мистрисс Тревертон, большая и высокая комната, выходила окнами на западный фасад дома и, стало быть, на море. Ночная лампа, стоявшая возле постели, скорее выказывала, чем разгоняла мрак, сгустившийся по углам. Старинная постель была завешена кругом тяжелыми драпировками. Из других утварей комнаты приметны были только самые массивные. Шифоньеры, гардеробный шкаф, высокое трюмо, кресла с высокой спинкой и, наконец, безобразная масса кровати выступали из темноты; все остальные предметы погружены были в мрак. В открытое окно, отворенное для освежения воздуха после душливой августовской ночи, долетали в комнату однозвучные, глухие и отдаленные всплески волн о песчаный берег. Всякий остальной

шум смолк в этот первый час нового дня. В самой комнате слышалось только тихое, тяжелое дыхание умирающей женщины: эти слабые, предсмертные звуки отделялись печально и отчетливо даже от далекого громового дыхания самого моря.

— Мистрисс, — сказала Сара Лизон, подойдя к занавескам, но не поднимая их, — ваш супруг вышел из комнаты и оставил меня вместо себя.

— Огня! Дайте мне огня! — Смертельная слабость звучала в голосе, но вместе с ней звучала и решимость, заметная вдвойне при сравнении с нерешительной речью Сары. Сильная природа госпожи и слабый дух горничной выказались сразу в этих немногих словах, проговоренных сквозь занавески смертного одра.

Сара дрожащею рукою зажгла две свечи, нерешительно поставила их на стол подле постели, переждала мгновение, бросив кругом себя подозрительный, робкий взгляд, и потом приподняла занавески.

Недуг, от которого умирала мистрисс Тревертон, был одним из самых страшных недугов, поражающих человеческий род, и преимущественно женщин: он подкапывает жизнь, не оставляя на лице больного признаков своего сокрушительного прогресса. Неопытный человек, взглянув на мистрисс Тревертон в то время, как ее горничная приподняла занавески, вероятно подумал

бы, что больная получила все облегчение, какое может только доставить человеческая наука. Легкие следы болезни на ее лице и неизбежная перемена в его очерке были едва заметны: так чудно сохранило это лицо весь блеск, всю нежность, все сияние девственной красоты. На подушке покоилась голова, нежно окаймленная богатыми оборками чепца, увенчанная сверкающими черными волосами; по лицу красавицы можно было только заключить, что она или оправилась от легкой болезни, или просто устала и отдыхает. Сама Сара Лизон, не отходившая от госпожи во все время ее болезни, взглянув в эту минуту на мистрисс Тревертон, с трудом могла поверить, что за этой женщиной уже затворились врата жизни и что смерть беспощадною рукой уже манит ее к вратам гроба.

Несколько подержанных книг в бумажных обертках лежало на одеяле: когда Сара приподняла занавеску, мистрисс Тревертон приказала убрать их. Это были театральные пьесы, в некоторых местах подчеркнутые чернилами, с выносками на полях и с отметками сценических входов, выходов и положений. Слуги, разговаривавшие на кухне о занятиях их госпожи до замужества, не были обмануты ложным слухом: капитан, пережив первую пору юности, действительно взял себе жену с бедных подмостков провинциального театра, два

года спустя после ее первого дебюта. Подержанные старые пьесы составляли некогда всю ее драгоценную драматическую библиотеку и всегда, как добрые старые знакомые, составляли предмет ее нежного попечения, а в последнее время болезни они не сходили с постели.

Отложив книги, Сара воротилась к своей госпоже; ее лицо выражало не печаль, а какой-то дикий ужас; губы раскрылись, она хотела что-то сказать, но мистрисс Тревертон взяла ее за руку.

— Заприте двери, — сказала она тем же слабым, но решительным голосом. — Заприте двери и не впускайте никого, пока я вас не отпущу.

— Никого? — повторила робко Сара. — Даже доктора? Даже вашего супруга?

— Ни доктора, ни даже мужа, — проговорила мистрисс Тревертон, указывая на дверь. Рука ее была слаба, но и в слабом ее движении был полный приказ.

Сара заперла дверь, воротилась нерешительно к постели, вопросительно подняла большие, неподвижные глаза на свою госпожу и вдруг, нагнувшись к ней, прошептала:

— Вы сказали вашему мужу?

— Нет, — ответила больная. — Я послала за ним с тем, чтобы сказать ему, — слова у меня не сходили с губ, — мне поражала самую душу, Сара, одна мысль о том, как бы лучше открыть ему... я

так люблю, так нежно люблю его!.. И все-таки я бы сказала ему, если бы он не заговорил о ребенке. Сара! Он только и говорит, что о ребенке: это заставило меня молчать.

Сара с полным и странным для самой невзыскательной госпожи забвением обоюдных отношений при первом слове мистрисс Тревертон упала в кресло, закрыла лицо дрожащими руками и простонала: «О, что будет! Что теперь будет!»

Глаза мистрисс Тревертон заблестели мягко и нежно, когда она стала говорить о любви своей к мужу. Несколько минут она лежала молча; по ее ускоренному трудному дыханию, по болезненно сдвинутым бровям было видно, что ею овладело сильное волнение. С трудом повернула она голову к креслу, на котором сидела ее горничная, и сказала еле слышным на этот раз голосом:

— Подайте мне мое лекарство, — сказала она. — Мне его нужно.

Сара вскочила и с инстинктивной быстротой послушания отерла катившиеся по щекам слезы.

— Вам нужно доктора, — заметила она. — Позвольте, я позову доктора.

— Нет! Лекарства; дайте мне лекарства!

— Какую склянку? С опиатом, или...

— Нет. Не с опиатом. Другую.

Сара взяла со столика склянку, посмотрела на сигнатурку и заметила, что еще не время принимать

это лекарство.

— Дайте мне пузырек.

— Ради Бога, не просите! Подождите, умоляю вас. Доктор сказал, что это лекарство хуже чем дурман, ежели часто принимать.

Ясные, глубокие серые глаза мистрисс Тревертон вспыхнули; яркий румянец окрасил ее щеки; рука с усилием, но повелительно отделилась от одеяла.

— Откупорьте пузырек и подайте, — сказала она. — Мне нужны силы. Что за дело, — умру ли я через час или через неделю. Дайте мне пузырек.

— Зачем же весь пузырек? — спросила Сара, все-таки подавая его под влиянием своей госпожи. — Тут два приема. Подождите: я принесу рюмку.

Она снова пошла к столу. В это же мгновение мистрисс Тревертон поднесла пузырек к губам, выпила все, что в нем было, и откинула его прочь.

— Она убила себя! — вскрикнула Сара и в ужасе кинулась к двери.

— Пойдите, — произнес с постели голос еще решительнее, чем прежде. — Пойдите, воротитесь и приподнимите меня повыше на подушки.

Сара взялась за ручку замка.

— Воротитесь, — повторила мистрисс Тревертон. — Пока я жива, я хочу, чтоб мне повиновались. Воротитесь. — Румянец ярче

разливался по ее лицу и ярче блестели ее глаза. Сара воротилась и трепетными руками подложила еще подушку к тем, которые поддерживали голову и плечи умирающей женщины; при этом простыня и одеяло несколько сдвинулись с места; мистрисс Тревертон судорожно поправила их и опять окутала ими шею.

— Вы не отперли двери? — спросила она.

— Нет.

— Я запрещаю вам подходить к ней близко.

Подайте мне портфель, перо и чернила из бюро, там у окошка.

Сара подошла к бюро и открыла его; но вдруг призадумалась, как будто в ее душу проникло какое-то сомнение: она спросила — какие именно письменные приборы нужно подать?

— Принесите портфель и увидите.

Портфель и на нем лист бумаги были положены на колени мистрисс Тревертон; перо было обмокнуто в чернила и дано ей в руки. С минуту она сидела неподвижно, закрыв глаза, и тяжело дышала; потом принялась писать, говоря своей горничной, по мере того, как поднималось перо: «Смотрите». Сара тоскливо глянула через плечо своей госпожи и увидела, как перо медленно и слабо провело первые два слова: «Моему мужу».

— О, нет, нет! Не пишите этого! — крикнула она и схватила свою госпожу за руку, но тотчас же

отпустила ее при взгляде мистрисс Тревертон.

Перо продолжало двигаться и еще медленнее, еще слабее вывело целую строчку и остановилось; буквы последнего слова слились вместе.

— Ради Бога! — повторила Сара, падая на колени возле постели. — Не пишите ему, ежели вы не могли уже сказать на словах. Позвольте мне скрыть до конца, что я так долго скрывала. Пусть тайна умрет с вами и со мною и никогда не будет узнана светом. Никогда, никогда, никогда!

— Тайна должна быть открыта, — отвечала мистрисс Тревертон. — Мой муж должен бы был ее знать, и должен узнать. Я решилась сказать ему, но у меня не достало духу. Я не могу вам довериться: после моей смерти вы ему ничего не скажете. Надо написать. Возьмите перо и пишите с моих слов.

Сара, вместо того чтобы повиноваться, припала лицом к одеялу и горько зарыдала.

— Вы не разлучались со мной со дня моего замужества, — продолжала мистрисс Тревертон. — Вы были мне скорее подругою, чем служанкой. Неужели вы мне откажете в последней просьбе? Вы отказываете? Безумная! Поднимите голову и слушайте. Вы погибнете, ежели откажетесь взять перо. Пишите, или я не буду лежать спокойно в гробу. Пишите, или — как Бог свят я приду к вам с того света.

Сара упала ей в ноги с слабым криком.

— У меня волос дыбом стал! — прошептала она, глядя на свою госпожу с выражением суеверного ужаса во взгляде.

В это самое мгновение лишняя доза возбуждательного лекарства начала действовать на мистрисс Тревертон. Она беспокойно заметалась на подушке, продекламировала бессвязно несколько строчек из одной из пьес, снятых Сарой с ее постели, и вдруг протянула своей горничной перо, с театральным жестом и со взглядом, кинутым на мнимую публику.

— Пишите! — крикнула она громким, наводящим ужас сценическим голосом. — Пишите! — И слабая рука поднялась опять давно забытым сценическим движением.

Механически сжав пальцами вложенное в них перо, Сара, все с тем же выражением суеверного ужаса, ожидала дальнейшего приказа своей госпожи. Несколько минут прошло, прежде чем мистрисс Тревертон начала говорить. В ней оставалось еще довольно сознания, чтобы смутно следить за действием лекарства и противиться ему, пока оно окончательно не помутит ее мысли. Прежде она спросила нюхательного спирту, потом одеколону.

Смоченный одеколоном и приложенный ко лбу платок несколько освежил ее умственные способности. В ее глазах блеснул разумный луч, и

когда она повторила горничной: «пишите», силы воротились к ней настолько, что она могла диктовать спокойным, ровным и решительным голосом. Слезы все еще катились по щекам Сары; с ее губ срывались несвязные речи, в которых слышалось странное смешение: мольбы, ужаса и раскаяния; но она покорно выводила неровные строки, пока не исписала первых двух страничек. Тогда мистрисс Тревертон перестала диктовать, пробежала глазами написанное, взяла из рук Сары перо и подписала свое имя. При этом усилия она опять потеряла возможность бороться с действием лекарства. Густой румянец еще раз выступил на ее щеки, и она торопливо проговорила, вложив перо в руки горничной.

— Подпишите! — крикнула она, слабо ударяя рукой по одеялу. — Подпишите: Сара Лизон, свидетельница. Нет! Пишите — соучастница: возьмите и свою долю — не одной же мне. Подпишите, я настаиваю на этом! Подпишите, как сказано.

Сара повиновалась, и мистрисс Тревертон, взяв бумагу, указала на нее тем же театрално-торжественным движением руки.

— Когда я умру, — сказала она, — вы передадите это вашему господину и ответите на все его вопросы так же правдиво, как на страшном суде.

Всплеснув руками, Сара в первый раз бросила решительный взгляд на свою госпожу и в первый раз проговорила решительным голосом:

— Если бы я только знала, что должна скоро умереть, с какою радостью поменялась бы я с вами.

— Обещайте мне, что отдадите бумагу вашему господину, — повторила мистрисс Тревертон. — Обещайте!.. Нет! Обещанию вашему я не поверю — мне нужна ваша клятва. Подайте мне библию, что священник читал сегодня утром. Подайте мне библию, или я не успокоюсь в гробу. Подайте ее или я приду с того света.

Она засмеялась, повторив этот обет. Горничная содрогнулась, повинувшись непреложному повелению.

— Да, да, библию, что священник читал, — рассеянно продолжала мистрисс Тревертон, когда книга была принесена. — Священник хороший, слабый человек — я напугала его, Сара! Он меня спросил: «Примирились ли вы со всеми?» А я ему сказала: — Со всеми, кроме одного... Вы знаете, Сара, кроме кого.

— Кроме вашего деверя. О, не умирайте во вражде, с кем бы то ни было. Не умирайте во вражде даже с ним, — упрашивала Сара.

— Священник мне тоже говорил, — сказала мистрисс Тревертон. Глаза ее блуждали по комнате; голос вдруг сделался тише и невнятнее.

— Вы должны простить ему, сказал мне священник. А я ему ответила: «нет», прощу всем на свете, только не моему деверю. Священник испугался, Сара, и отошел от постели. Говорил, что будет за меня молиться и опять придет ко мне. Придет ли он?

— Конечно, — отвечала Сара. — Он человек хороший и придет наверное... О! Скажите же тогда, что простили вашего деверя. Дурные речи об вас, когда вы выходили замуж, рано или поздно отзовутся ему. Простите его, простите перед смертью.

Произнося эти слова, Сара хотела было потихоньку скрыть библию от глаз своей госпожи, но мистрисс Тревертон заметила это движение, и угасающие духовные силы ее снова вспыхнули.

— Пойдите! — крикнула она, и прежний луч озарил ее темнеющие глаза; с усилием схватила она Сару за руку, положила ее на библию и не выпускала ее из своей руки. Другой рукой она стала водить по одеялу, пока не нашла письма, адресованного к мужу. Пальцы ее судорожно сжали бумагу, и отрадный вздох вылетел из губ.

— А, — сказала она, — теперь я вспомнила, зачем мне нужна библия. Я умираю в полном сознании, Сара, и вы не можете обмануть меня даже и теперь.

Она помолчала, слегка улыбнулась,

прошептала: «Подожди! Подожди! Подожди!» И потом прибавила громко, с сценическим голосом и с прежним сценическим жестом.

— Нет! Вашему обещанию я не поверю. Мне нужна ваша клятва. Станьте на колени. Вот мои последние слова на этом свете, — не повинуйтесь им, если осмелитесь.

Сара стала на колени возле постели. Ветерок, окрыленный близким рассветом, слегка зашевелил занавеской и отрадно повеял в комнате больной. Вместе с ним долетел и отдаленный шум прибора, раскатившись в глухих, но непрерывных звуках. Потом оконные занавески опять лениво опустились, всколыхнутое пламя свечи опять выпрямилось, и мертвая тишина комнаты стала еще мертвенней.

— Клянитесь, — сказала мистрисс Тревертон. Голос ей изменил, когда она произнесла это слово. Она сделала над собой усилие, оправилась и продолжала: — Клянитесь, что вы не истребите этой бумаги после моей смерти.

Даже при этих торжественных словах, при этом последнем жизненном усилии выказался неискоренимый инстинкт актрисы: Сара почувствовала, как холодная рука, лежавшая на ее руке, отделилась на мгновение; как, грациозно колеблясь, протянулась к ее груди, как опять упала ей на руку и сжала ее судорожно. При последнем призыве Сара робко проговорила:

— Клянусь!

— Клянитесь, что вы не унесете бумаги, если оставите дом после моей смерти?

Опять Сара замедлила с ответом, опять почувствовала то же судорожное пожатие, только слабее, и опять трепетно проговорила:

— Клянусь!

— Клянитесь, — начала в третий раз мистрисс Тревертон. Голос снова изменил ей, и на этот раз она тщетно силилась придать ему повелительный тон. Сара подняла голову и взглянула на свою госпожу: лицо больной начала передергивать судорога; пальцы белой, нежной руки скорчились, когда она протянула их к столику с лекарством.

— Вы все выпили? — крикнула Сара, задрожав с ног до головы. — Мистрисс, дорогая моя мистрисс! Вы выпили все — остался только опиат... я пойду... я позову...

Взгляд мистрисс Тревертон не дал ей кончить. Губы умирающей быстро шевелились. Сара почти приложила к ним ухо. Сперва она слышала только прерывистые вздохи, потом разобрала сквозь них несколько внятных слов:

— Я не успела... Вы должны поклясться... Ближе, ближе, ближе ко мне... Поклянитесь третий раз... Ваш господин... Поклянитесь отдать...

Последние слова замерли где-то далеко. Произнесшие их с таким трудом уста открылись и

не закрывались более. Сара бросилась к двери, отперла ее, крикнула в коридор, потом опять кинулась к постели, схватила исписанный листок и спрятала его на груди. Последний взгляд мистрисс Тревертон упорно и укоризненно остановился на Саре и не изменил своего выражения, пока не застыли все черты лица. Еще мгновение — и тень смерти согнала с этого лица последний жизненный луч.

В комнату вошел доктор в сопровождении сиделки и одного из слуг, поспешно подошел было к постели, но с первого же взгляда догадался, что помощь его более не нужна. Прежде всего он обратился к слуге:

— Ступайте к вашему господину, — сказал он, — и попросите его подождать в кабинете, пока я не приду.

Сара, не замечая никого, все еще стояла у постели, немая и неподвижная.

Сиделка подошла опустить занавески и отступила назад при взгляде на лицо Сары.

— Я думаю, что этой особе лучше бы выйти из комнаты, сэр, — сказала она доктору с презрительным выражением во взгляде и в голосе. — Она чересчур поражена тем, что случилось!

— Совершенно справедливо, — заметил доктор. — Гораздо лучше ей удалиться. Позвольте

мне посоветовать вам — оставить нас на минутку, — прибавил он, тронув Сару за руку.

Она боязливо отшатнулась, прижала одну руку к груди, на том месте, где лежало письмо, а другую руку протянула к свечке.

— Вам спокойнее будет в вашей комнате, — сказал доктор, подавая Саре свечку. — Впрочем, позвольте, — продолжал он, подумав немного, — я иду с недобрыми вестями к вашему господину, и он вероятно жаждет услышать последние слова мистрисс Тревертон в вашем присутствии. Может быть, вам лучше пойти со мною и переждать, пока я пробуду в кабинете у капитана.

— Нет! Нет! О, не теперь, не теперь, ради Бога! — торопливо и жалобно шепча эти слова и пятась к двери, Сара исчезла, не дождавшись нового вопроса.

— Странная женщина, — сказал доктор, обращаясь к сиделке, — ступайте за ней и посмотрите — куда она пошла: может быть, нам придется посылать за ней. Я подожду здесь.

Сиделка воротилась с ответом, что она шла за Сарой Лизон до ее комнаты, видела, как она вошла в нее, и слышала, как заперла за собой дверь.

— Странная женщина, — повторял доктор, — молчаливого, таинственного сорта.

— Плохого сорта, — сказала сиделка. — Все бормочет что-то про себя, а уж это, по-моему,

дурной знак. Не люблю я ее глаз — нехороши... Никакой я веры к ней не имела, сэр, с первого же дня, как поступила в дом.

Глава II. СКРЫТИЕ ТАЙНЫ

Не успела Сара Лизон повернуть ключ в свою спальню, как поспешно вынула листок из-под корсета и дрогнула, словно ее обожгло прикосновение к нему; затем она его развернула, положила на туалетный столик и устремила взоры на начерченные строки. Сначала они слились и перепутались между собою. Сара приложила руки к глазам и через несколько мгновений снова взглянула на письмо.

Теперь буквы были яснее, живо ясны, и, как казалось Саре, неестественно крупны и близки к глазам. Сначала был адрес: «Моему мужу», потом первая строчка, набросанная рукой покойницы; затем следующие строки, писанные собственной рукою Сары и в конце две подписи — сперва мистрисс Тревертон, потом Сары. И все это было не более как несколько речений, умещенных на ничтожном лоскутке бумаги, который пламя свечи могло мгновенно обратить в пепел. Сара сидела и читала — читала — читала, не дотрагиваясь до письма и прикасаясь к нему только тогда, когда следовало перевернуть первую страницу.

Недвижно, молча, не отрывая глаз от бумаги, сидела Сара и, как преступник читает смертный приговор, так и она читала немногие строки, за полчаса написанные ею и покойницей.

Тайна поразительного влияния этого письма заключалась не только в его содержании, но и в обстоятельствах, при которых оно было написано. Клятва, предложенная мистрисс Тревертон, была вызвана последней своенравною причудой расстроенного воображения, подстегнутого смутными воспоминаниями сценических эффектов, была принята Сарою Лизон за священное и нерушимое обязательство. Вынужденное повиновение последней воле умирающей, загробная угроза, произнесенная ею шутя, только для того, чтоб напугать суеверную девушку, произвела тяжелое впечатление на робкую душу Сары, как неотразимый приговор, невидимо грозящий ей каждое грядущее мгновение. Когда она, наконец, несколько опомнилась, отодвинула от себя бумагу и поднялась на ноги, она простояла несколько мгновений, как онемелая, прежде чем оглянулась кругом; взгляд ее недоверчиво углубился в темноту отдаленных комнат.

Старая ее привычка говорить сама с собой вступила в свои права, и Сара быстро зашагала по комнате взад и вперед, вдоль и поперек, беспрестанно повторяя отрывистые фразы: «Как я

ему отдам письмо? Такой добрый господин, такой ласковый ко всем нам. Зачем она умерла и оставила все на моей совести! Мне одной не под силу». Говоря эти слова, Сара машинально прибирала у себя в комнате, хотя в ней все было в надлежащем порядке. Все ее взгляды и все ее движения обличали тщетное усилие слабой души выдержать гнет тяжелой ответственности. Она переставляла на камине фарфоровые безделушки; десять раз перекладывала свою подушечку то на туалет, то на стол, десять раз передвигала на умывальнике кувшин и мыльницу то на одну, то на другую сторону таза. Несмотря на всю бессмысленность этих движений, природное изящество, ловкость и чистоплотность женщины проглядывали в них в эту минуту, как и всегда. Она ничего не задела, ничего не сронила; шаги ее были беззвучны; одежда была в таком порядке и так прилична, как будто бы был белый день, и на нее были устремлены взгляды всех соседей. Иногда смысл слов, которые она бормотала сама с собою изменялся: то в них были слышны урывками более смешные и самостоятельные мысли; то эти мысли сменялись другими, которые как будто насильно влекли ее к туалетному столику и к раскрытому письму. Она вслух читала адрес: «моему мужу», пронзительно глядела на письмо и говорила твердым голосом... «И зачем я отдам ему это письмо? Зачем этой тайне

не умереть вместе с ней и со мной! Зачем ему знать эту тайну? Не нужно!» Произнеся эти последние слова, она отчаянно поднесла письмо на вершок к зажженной свечке. В это мгновение белая оконная занавеска зашевелилась, как будто свежий ветерок проник сквозь старинные, плохо замазанные рамы. Сара увидела, как тихо заколебалась занавеска, обеими руками быстро прижала письмо к груди и прислонилась к стене, не сводя глаз с занавески, с тем же выражением во взгляде, с каким она слушала мистрисс Тревертон, когда покойница требовала послушания даже за могилой.

— Что-то шевелится, — едва внятно прошептала она. — Что-то шевелится вокруг меня.

Занавеска еще раз тихо зашевелилась. Пристально смотря на нее через плечо, Сара прокралась вдоль стены к двери.

— Неужели вы уже пришли ко мне? — проговорила она, не отрывая глаз от окна и ощупывая рукою отверстие замка. — Еще и гроб не сколочен, и могила не вырыта, и тело не остыло!

Она отворила дверь и проскользнула в коридор, остановилась на мгновение и снова поглядела в комнату.

— Успокойтесь! — сказала она. — Успокойтесь: у него будет письмо.

Лестничная лампа вывела ее из коридора. Поспешно сходя по ступенькам, она в минуту или в

две сошла в нижний этаж и подошла к двери капитана Тревертона. Дверь была открыта и комната пуста. Подумав немного, Сара засветила одну из свечей, стоявших в столовой на кабинетной лампе, и поднялась по лестнице к спальне своего господина. Постучав несколько раз в двери и не получив ответа, она решила войти в спальню. Постель была не тронута, свечи не зажжены, и по-видимому в комнату никто не входил в эту ночь. Оставалось искать капитана только в одном месте: в комнате, где лежало тело его покойной жены. Достанет ли у Сары духа отдать там ему письмо? Несколько времени она оставалась в нерешимости, а потом прошептала: «Я должна! Я должна!» Теперь ей приходилось опять сходить по лестнице, и она стала спускаться потихоньку, придерживаясь за перила и останавливаясь на каждом шагу, чтобы отдохнуть. Дверь бывшей спальни мистрисс Тревертон при первом стуке Сары была отворена сиделкой, которая грубо и подозрительно спросила ее, что ей нужно?

Мне нужно поговорить с капитаном, — проговорила она.

— Ищите его где-то в другом месте. Здесь он был полчаса тому назад и ушел.

— Не знаете куда?

— Не знаю. Я в чужие дела не вмешиваюсь: своих довольно.

С этим неприятным ответом сиделка захлопнула дверь. Когда Сара отвернулась от двери, взгляд ее случайно упал на противоположный конец коридора: там была дверь в детскую. Она была полуотворена, и в щель проходил слабый свет.

Сара пошла на свет и увидела, что он выходил из внутренней комнаты, обыкновенно занимаемой нянькой и единственным ребенком Тревертонов, девочкой лет пяти по имени Розамонда.

— Неужели он здесь? Из всего дома именно в этой комнате?

При этой мысли Сара торопливо спрятала на груди письмо, которое до тех пор держала в руке, словом, поступила точно так же, как в первый раз, когда отходила от смертного одра своей госпожи.

Она прокралась на цыпочках через детскую в следующую комнату. Первый предмет, кинувшийся ей в глаза, была нянька, задремавшая на спокойном кресле подле окна. Осмелившись после этого открытия взглянуть смелее в комнату, Сара увидела своего господина: он сидел у детской кровати. Маленькая Розамонда не спала и стояла на кровати, обхватив руками шею отца. В одной из ее ручонек, лежавших на отцовском плече, была унесенная в постельку кукла; другою малютка играла с волосами капитана. Незадолго перед тем она кричала во весь голос, потом поуспокоилась и

только изредка хныкала, припав головкой к руке отца.

Крупные слезы навернулись на глазах Сары, когда она увидела своего господина и ручонки, обвившие его шею. Она остановилась перед поднятой занавеской, несмотря на то что с минуты на минуту ее могли увидеть и обратиться с вопросом, и стояла до тех пор, пока не услышала нежных слов капитана, обращенных к ребенку:

— Полно, милая Роза, полно голубушка! Перестань плакать по бедной маме. Подумай о бедном папе, постарайся утешить его.

Как ни были просты эти слова, но, услышав их, Сара Лизон едва могла совладать с собою. Не давая себе отчета, слышали ее или нет, она бросилась в коридор, как будто была в опасности. Забыв об оставленной свече, даже не взглянув на нее, Сара сбежала вниз по лестнице в кухонный этаж. На кухне сидел один из слуг и, при виде ее, тревожно спросил — что случилось?

— Я больна... Я слаба... Мне нужен свежий воздух, — отвечала она несвязно и в замешательстве. — Отворите мне дверь в сад и выпустите меня.

Слуга повиновался, но неохотно, как будто думал, что ей не следует доверять самой себе.

— Сегодня она еще чуднее, — сказал он своим сотоварищам после того, как выпустил

Сару. — Теперь мистрисс умерла, вероятно Сара будет искать нового места. Я раз навсегда скажу, что сердце у меня по ней не лопнет с тоски... А у вас?

Свежая прохлада повеяла из сада в лицо Сары и успокоила ее волнение. Она свернула в боковую аллею, выведившую на террасу, против соседской церкви. На дворе начинало уже брезжить. На востоке, над черной полосой болотистой местности разливался тихий полусвет, предвестник солнечного восхода. Старинная церковь с купами миртов и фуксий, осенивших небольшое кладбище с возможною роскошью Корнуэльской растительности, ясно вырезывалась на небе, озаренная рассветными лучами. Сара в изнеможении оперлась рукой на спинку дерновой скамьи и стала смотреть на церковь. Ее взоры перенеслись от храма на кладбище, остановились на нем и следили за горячим рассветом зари по уединенному убежищу покойников.

— Ох, мое сердце, мое сердце! — сказала она. — Отчего ты не разбилось до сих пор?

Несколько времени стояла она, склонившись на скамью, грустно глядела на церковный погост и обдумывала слова капитана Тревертона к ребенку. Ей казалось, что эти слова, как и все остальное, должны были иметь прямое отношение к предсмертному письму мистрисс Тревертон. Она

еще раз достала письмо и гневно смяла его пальцами.

— Все еще в моих руках! Все еще никто не видел его! — сказала она, глядя на смятый листок. — Но моя ли это вина? Если бы она была еще жива, если бы видела, что видела я, если бы слышала, что слышала я, могла ли бы она ожидать, что я отдам ему письмо?

Она задумчиво поднялась со скамьи, пересекла террасу, спустилась по нескольким деревянным ступенькам и пошла по обсаженной кустарником тропинке, извиристо проложенной от восточной к северной части дома. Эта часть здания была необитаема и заброшена в течение более чем полувека. При жизни отца капитана Тревертона из северных комнат были вынесены лучшие картины и более ценные вещи для украшения западных комнат, оставшихся единственно обитаемыми и достаточных для помещения семьи и случайных посетителей. Все здание было выстроено очень своеобразно, в форме квадрата, и когда-то сильно укреплено. Теперь от прежних укреплений осталась только понурая приземистая башня на южной оконечности западного фасада. По ней и по соседней деревне самый дом назывался Портдженской башней. Наружный вид северных комнат из дикого, запущенного сада доказывал вполне, что много лет прошло с тех пор, как в этих

комнатах обитало человеческое существо. Рамы кое-где были разбиты, кое-где покрыты слоем грязи и пыли. В ином месте ставни были заперты, в другом полурастворены. Раскидистая ива, мох и трава, пробивавшиеся в расщелины камня, фестоны паутины, обломки дерева, кирпичи, известка, битые стекла, грязное лохмотье, свесившееся с окон, — все говорило о давнишнем запущении. По своему положению эта запущенная часть дома казалась развалиной: темнота и зимний холод лежали на ее стенах даже в солнечное летнее утро, когда Сара Лизон вошла в запустелый сад. Потерявшись в лабиринте собственных мыслей, она тихо проходила мимо цветников, разбитых когда-то, по убитым щебнем и песком дорожкам, уже поросшим сорною травой.

Впечатление, которое произвели на Сару слова капитана, подслушанные ею в детской, перевернуло, так сказать, всю ее природу, пробудило нравственное мужество и дало ей силу решиться на последний отчаянный поступок. Идя все тише и тише по дорожкам забытого сада, более и более отрешаемая мыслями от всего окружающего, Сара нечувствительно остановилась перед открытым местом, с которого открылся вид на длинный ряд северных необитаемых комнат.

— Что меня обязывает отдать письмо моему господину? — думала она, расправляя скомканную

бумагу на ладони. — Моя госпожа умерла и не успела обязать меня клятвой отдать письмо. Неужели она будет меня тревожить с того света, ежели я сдержу только произнесенные мною клятвы и не пойду далее? Я свято исполнила все, в чем поклялась. Почему же мне не выждать, что случится, хоть самое худое?

Здесь она приостановилась своим мысленным рассуждением: суеверный страх преследовал ее в белый день и под открытым небом, точно так же, как и в комнате, во мраке ночи. Еще раз посмотрела она на письмо, еще раз припомнила всякое слово клятвы, данной ею мистрисс Тревертон.

Под влиянием такого рода ощущений она безотчетно взглянула вверх. Прежде всего ее взоры остановились на уединенном северном фасаде дома, потом были привлечены особенным окном, в самой середине здания, во втором этаже: — это окно было больше и светлее всех остальных. Глаза Сары вспыхнули внезапно мыслью; слабый румянец пробился сквозь ее щеки, и она поспешно подошла к дому. Рамы широкого окна пожелтели от пыли и покрылись фантастическим узором паутины. Внизу лежала целая куча разных обломков на высокой клумбе, где когда-то, вероятно, красовались цветы и кустарник. Форма клумбы была еще заметна по ободку из травы и дерна. Сара нерешительно обошла ее кругом, на каждом шагу поглядывая на

окно; наконец остановилась под самым окном, поглядела на письмо и отрывисто проговорила:

— Решаюсь!

Произнеся эти слова, она торопливо свернула к обитаемой части дома, прошла по кухонному коридору к комнате дворецкого, вошла в нее и сняла со стенки связку ключей с широким ярлыком в слоновой кости, привязанным к кольцу. На ярлыке было написано: «Ключи от северных комнат».

Сара положила ключи на письменный столик, взяла перо и на обороте письма, написанного под диктовку покойницы, прибавила следующие строки:

«Ежели эта бумага когда-либо найдется (чего я не желаю от всего моего сердца), да будет известно, что я решилась скрыть ее, потому что не осмеливаюсь показать ее содержания моему господину, к которому она адресована. Поступая так, я, конечно, не исполню предсмертной воли моей госпожи, но не нарушу клятвы, данной ей на смертном одре. Эта клятва запрещает мне истребить письмо или унести его с собою, если я оставлю дом. Я не сделаю ни того, ни другого: мое намерение — спрятать

его в таком месте, где, по всей вероятности, его никогда не найдут. Всякая случайность, всякое неприятное последствие да падут на меня самое. Впрочем, по чистой совести, гораздо лучше скрыть страшную тайну письма».

Она подписала свое имя под этими строками, поспешно придавила их к пропускной бумаге, лежавшей на столе вместе с прочими письменными принадлежностями, потом сложила письмо, схватила связку ключей и, озираясь, словно из боязни, что за ней подсматривают, вышла из комнаты. Все ее движения, с тех пор как она вошла в эту комнату, были торопливы и порывисты: она, видимо, боялась единой минуты размышления.

Выйдя из комнаты дворецкого, она поднялась по черной лестнице и при конце ее отворила дверь. На нее полетело облако пыли, сырой холод охватил ее, когда она вступила в большую каменную залу с почерневшими семейными портретами, некоторые полотна повыпали из рамы и свешивались по стенам. Поднявшись еще по многим ступеням, она дошла до длинного ряда дверей на северную половину дома.

Она стала на колени возле одной из дверей, положила письмо возле и начала примерять ключи

к замку. Для нее это было нелегкое дело, волнение ее было так сильно, что она еле-еле могла отделять один ключ от другого. Наконец ей удалось отпереть дверь. Ее покрыло опять облаком пыли; сухая, удушливая атмосфера проникла всю ее насквозь, так что она попятилась было назад к лестнице. Но решимость возвратилась к ней мгновенно: «Теперь я не могу уйти!», — проговорила она отчаянно и возвратилась назад.

Она осталась там не более трех минут. Когда она оттуда вышла, лицо ее побледнело от страха, а в руке, в которой она держала письмо, уже ничего не было, кроме небольшого ключа.

Заперев дверь, она внимательнее осмотрела большую связку ключей, унесенных ею из комнаты дворецкого. Кроме дощечки из слоновой кости, прикрепленной к кольцу, к связке привязано было еще несколько билетиков из пергамента с надписями, объяснявшими значение ключей. К ее ключу был привешен такой же билетик, она поднесла его к свету и прочла полинялую от времени надпись: «Миртовая комната».

Стало быть, комната, в которой она спрятала письмо, имела имя! Удачное, звучное название: вероятно привлекало оно многих и осталось во многих воспоминаниях. Этого названия она должна опасаться после ее поступка.

Сара достала из кармана рабочий прибор и

ножницами отрезала билетик. Но довольно ли истребить только один билетик? Она потерялась в бесполезных соображениях и кончила тем, что отрезала и все остальные билетики; единственно из инстинктивного подозрения к ним. Заботливо подобрав лоскутки пергамента с пола, она положила их вместе с ключом от Миртовой комнаты в пустой карман передника. Потом, неся в руке связку ключей и заботливо замыкая за собой отворенные двери, Сара вошла в комнату дворецкого и, не видя там никого, повесила ключи на прежнее место.

Боясь встретиться с одной из служанок, так как день начинал уже заниматься, Сара поспешила воротиться в свою спальню. Оставленная ею свеча слабо светила в свежем, разгоравшемся рассвете. Когда Сара приподняла оконную занавеску и погасила свечу, тень недавнего страха пробежала по ее лицу даже под лучами зари. Она открыла окно и жадно стала впивать в себя прохладный воздух.

К добру или к худу, но тайна скрыта и дело сделано. Первое сознание этого поступка было успокоительно: теперь она могла рассудительнее всмотреться в свою темную будущность. Ни под каким видом не решалась она остаться в доме, так как все прежние отношения пресекла смерть. Она знала, что мистрисс Тревертон в последние дни своей болезни поручала ее особенной ласке и

покровительству капитана; знала также и то, что последняя воля покойницы, впрочем и все прежние ее просьбы, была священным законом для ее супруга. Но могла ли она принять покровительство и ласку от руки господина, которого обманула в сообществе с госпожой и которого продолжает обманывать уже одна? Мысль о таком низком поступке была до того возмутительна, что Сара, нимало не колеблясь, решилась на последнее средство — немедленно оставить дом. Но как его оставить? Формальный отказ непременно повлечет за собой затруднительные и страшные вопросы. Могла ли она встретиться лицом к лицу с господином после того, что она сделала, встретиться с ним, зная, что первый вопрос его будет о покойнице, что он будет допытываться малейших подробностей, доискиваться мимолетного слова, произнесенного умирающей в последние мгновения при ней, при Саре, при ней одной? Опустив глаза в землю, Сара раздумывала о последствиях такой невыносимой пытки и вдруг сняла со стены салоп и боязливо прислушалась у двери. Чу, кажется, слышны чьи-то шаги? Уж не послал ли за нею господин? Нет: все было тихо. Несколько слезинок скатилось по ее щекам, когда она надевала шляпку: она смутно почувствовала, что этот простой туалетный прием — последний шаг через порог вынужденной тайны. Отступить

было уже нельзя; ей оставалось или жить под вечным опасением, или выдержать двойную пытку: покинуть Портдженскую башню — и покинуть ее тайно.

Тайно, как воровка? Тайно, не сказав ни слова своему господину, не написав ему ни одной строки для испрошения прощения... «А что если, — подумала она, — я оставлю здесь письмо, чтобы его нашли после моего ухода из дому?» Размыслив немного, она дала себе утвердительный ответ и так быстро, как только успевало перо, написала несколько строчек капитану Тревертону и созналась, что скрыла от него тайну, которую обязана была ему открыть, но по чести и по совести полагает, что не нанесла ни ему, ни кому-либо из его близких вреда, не исполнив своего обязательства: письмо свое она заключила просьбой о прощении в том, что тайно ушла из дому, умоляя при том о последней милости, — не отыскивать ее следов. Запечатав и оставив на столе эту записку на имя своего господина, Сара еще раз прислушалась и, убедившись, что никто ей не помешает, сошла в последний раз по лестнице Портдженской башни. При входе в коридор, ведущий в детскую, она остановилась; долго сдержанные слезы снова брызнули из ее глаз, как ни были побудительны причины безотлагательного ухода из дома. Сара как будто в каком-то помешательстве сделала

несколько шагов к двери детской. До сих пор она шла так тихо, что не пробудила ни одного отголоска в целом доме. Теперь она остановилась в нерешительности: тоска, небывалая тоска подступила к ее сердцу и вырвалась резким воплем. Этот звук ужаснул ее самое: она поняла, что не должна оставаться ни одного мгновения, бросилась к лестнице, безопасно добралась до нижнего этажа, проскользнула в садовую дверь, отворяемую обыкновенно еще на заре. Вместо того чтобы идти по ближайшей тропинке, проложенной через болото к большой дороге, Сара свернула в Портдженские поля и направилась к церкви; но по пути остановилась у публичного колодца, вырытого близ хижин Портдженских рыбаков. Осторожно оглянувшись кругом, она кинула в колодец ключ от «Миртовой комнаты»; потом поспешно отошла прочь и вступила на церковное кладбище, шаги ее направились к могиле, находившейся несколько в стороне от прочих. На плите было написано:

Посвящается памяти
Гуго Польуиля,
имевшего 26 лет от роду.
Смерть его застигла
при падении со скалы
в
Портдженский рудник
декабря 17, 1823.

Сорвав несколько листочков травы с могилы, Сара раскрыла книжку «Гимнов Вестлея», взятую ею из Портдженской спальни, и заботливо уложила листочки между страниц. Ветер приподнял заглавный листок «Гимнов» и обнаружил на нем надпись, наброшенную крупным и грубым почерком: «Книга принадлежит Саре Лизон, подарок Гуго Польуиля». Уложив между страницами листочки травы, Сара стала пробираться к тропинке, выведившей на большую дорогу. Подойдя к болоту, Сара вынула из кармана своего фартука пергаментные билетки и рассыпала их под кустами вереска.

— Пропадайте, — сказала она, — как я пропала. Помогите и прости мне Господи. Теперь всему конец.

С этими словами она повернулась спиной к старому дому и к морю и по болотной тропинке продолжила свой путь к большой дороге.

Четыре часа спустя, капитан Тревертон послал одного из слуг предупредить Сару Лизон, что он желает от нее слышать о последних мгновениях ее госпожи. Посланный вернулся с встревоженным видом и с письмом Сары, адресованным в собственные руки мистера Тревертона.

Пробежав письмо, капитан немедленно послал

в погоню за Сарой. Все ее приметы, — преждевременная седина, неподвижный взгляд и постоянная привычка говорить с собою, — были до того исключительны, что за ней неотступно следили до самого Трэро. В этом большом городе следы ее потерялись. Предложены были награды; местные власти вмешались в дело; все, чем богатство и силы могли помочь разыскать, было сделано — и понапрасну.

Не отыскивали ни малейшего признака местонахождения Сары; не напали ни на один намек на упомянутую ею в письме тайну.

Сары не видали и не слышали более в Портдженской башне с самого утра двадцать третьего августа тысяча восемьсот двадцать девятого года.

Глава III. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Церковь в Лонг-Бэклэе (большом пахотном селении в средней Англии) как здание не имеет ничего замечательного ни в отношении архитектуры, ни в отношении древности, но она имеет одно неотъемлемое достоинство, которого промышленники, лондонские деспоты лишили самым варварским образом свой величавый собор св. Павла: в ней много места для посетителей, и ее прекрасно видно вокруг, откуда ни взглянешь.

К большой, открытой площади, на которой стоит церковь, можно подойти с трех разных сторон.

Есть дорога из деревни — прямо к главным церковным дверям. Есть широкая, убитая песком, аллея; она идет от дома священника, пересекает кладбище и заканчивается, как и подобает, у входа в ризницу. Есть тропинка через поля, по которой владетель замка и вообще дворянство, имеющее честь жить в его соседстве, может достигнуть боковых дверей здания, в случае, если их христианское смирение (поддерживаемое хорошей погодой) побудит их вспомнить день субботний и сходить в церковь, уподобляясь классу верующих на собственных ногах.

В половине восьмого часа, в одно прекрасное летнее утро, в тысяча восемьсот сорок четвертом году, если бы какой-нибудь посторонний наблюдатель невзначай нашелся в каком-нибудь незаметном уголке кладбища и стал бы пристально всматриваться в окружающие его предметы, он, вероятно, сделался бы свидетелем такого рода поступков, которые навели бы его на мысль, что в Лонг-Бэклэе таится заговор, что церковь — место соборща, а некоторые из самых почетных жителей — главные заговорщики. Если бы он посмотрел на дом священника в ту минуту, как часы ударили половину, он увидел бы, как пастырь Лонг-Бэклэя,

почетный доктор Ченнэри, осторожно вышел из дому через боковую дверь, беспокойно озираясь, подошел к песчаной аллее, ведущей к алтарю, таинственно остановился у самой двери и тревожно стал смотреть на дорогу к деревне.

Положим, что наш наблюдательный незнакомец отвел бы глаза в другую сторону и подобно священнику посмотрел бы вдоль по дороге. Он прежде всего увидел бы церковного причетника с суровым видом, с желтым лицом и с важной осанкой; он приближается с непроницаемой таинственностью в лице и с связкой ключей в руке. Он увидел бы, как церковный служитель поклонился священнику с многозначительной и мрачной улыбкой — так мог Гэй-Фокс поклониться Катэзби, когда эти два знаменитые владельцы пороховых боченков встретились, чтоб сделать осмотр своим обширным владениям под домом парламента.

Он бы увидел, как священник кивнул как-то особенно церковному служителю и сказал, без сомнения придавая таинственное значение по-видимому простому замечанию и дружескому вопросу: «Славное утро, Томас. Что, вы уже позавтракали?» Он услышал бы, как Томас отвечал, с особым вниманием к малейшим подробностям: «Я выпил чашку чаю с сухарем, сэр». И он увидел бы, как эти два местные заговорщика, посмотрев

оба разом на церковные часы, пошли к боковой двери, откуда была тропинка через поле.

Следя за ним, что, вероятно, не преминул бы сделать наш наблюдательный незнакомец, он открыл бы еще трех заговорщиков, приближавшихся по тропинке. В главе этой предательской партии был пожилой джентльмен, с лицом, на котором видны были следы житейской бури, и с резкими, открытыми приемами, как раз приносившими для отклонения всяких подозрений. Двое его спутников были молодой человек и молодая девушка; они шли под руку и разговаривали шепотом. Они были одеты просто, по-утреннему. Лица обоих были несколько бледны, движения молодой леди тревожны. Впрочем, в них нечего было заметить особенного, пока они не дошли до калитки, ведущей на кладбище. Тут поведение молодого человека могло показаться с первого разу необъяснимым. Вместо того чтобы поддержать дверь и пропустить в нее молодую леди, он отступил назад, допустил ее отворить для себя калитку, подождал, пока она ступит на кладбище, и потом, протянув руку к двери, позволил ей провести себя в нее, сделавшись вдруг из взрослого человека беспомощным ребенком.

Принимая в расчет это обстоятельство и заметив, что, когда партия, пришедшая с поля, приблизилась к священнику и церковный

служитель отпер своей связкой ключей церковную дверь, спутник молодой девушки был введен туда (на этот раз рукою доктора Ченнэри) точно так же, как перед тем был введен в калитку, наш наблюдательный незнакомец должен был прийти к тому заключению, что особа, требующая такого рода помощи, страдала слепотой. Несколько смущенный этим открытием, он еще больше удивился бы, если б посмотрел в церковь и увидел бы, что слепой юноша и молодая девушка стоят перед алтарем, а пожилой джентльмен находится при них в качестве отца. Как бы ни было велико его недоверие к тому, что заговорщики соединились в эту раннюю утреннюю пору узами брака и что цель их заговора заключалась в том, чтобы обвенчаться с возможной таинственностью, это недоверие рассеялось бы в пять минут при появлении доктора Ченнэри из ризницы, в полном облачении и при совершении венчального обряда, что исполнил почетный джентльмен самым гармоническим голосом. По окончании церемонии внимательный незнакомец должен быть совершенно изумлен, заметив, что все действующие лица разошлись, как только кончились поклоны, поцелуи и поздравления, приличные этому обстоятельству, и быстро удалились теми же путями, какими пришли в церковь. Оставим церковного служителя возвращаться по деревенской дороге; жениха,

невесту и пожилого джентльмена — по тропинке через поле, а умного незнакомца исчезнуть с этих страниц и последуем за доктором Ченнэри к пасторскому завтраку и послушаем, что он будет рассказывать о своих утренних занятиях в семейном кружке.

Особы, собравшиеся к завтраку, были, во-первых, мистер Фиппэн, гость; во-вторых, мисс Стерч, гувернантка; в-третьих, четвертых и пятых, мисс Луиза Ченнэри (десяти лет), мисс Амелия Ченнэри (девяти лет) и мистер Роберт Ченнэри (восьми лет). Материнского лица, для дополнения семейной картины, не было: доктор Ченнэри был вдовцом с рождения своего меньшого ребенка.

Гость был старый школьный товарищ священника; он проживал в Лонг-Бэклэе, как говорил, для здоровья. Есть люди, которые во что бы то ни стало стараются составить себе в том кружке, где они вращаются, особого рода репутацию. Мистер Фиппэн был человеком с некоторым характером и пользовался между своими друзьями большим уважением за то, что прослыл мучеником диспепсии. Куда бы ни пошел мистер Фиппэн, и страдания его желудка шли за ним. Он при всех предписывал себе диету и при всех себя лечил. Он так исключительно занимался собой и своими болезнями, что, казалось, язык был именно устроен для разговора об них; он так же

часто рассуждал о своем пищеварении, как другие о погоде. Об любимом своем предмете, так же, как и обо всех других, он говорил с привлекательной нежностью, иногда грустно и протяжно, а иногда замирающим и чувствительным голосом. Учтивость его была притворно-ласкова; он употреблял беспрестанно слово «любезный», когда относился к кому-нибудь с разговором. Наружность его никак не могла назваться красивой. Глаза у него были хотя и большие, но слезливые и светло-серые; они вертелись из стороны в сторону с влажным восторгом к кому или чему-нибудь. Нос его был длинный, наклоненный, глубоко задумчивый, если такое выражение может быть допущено, говоря об этой отдельной черте лица. Что касается до остального: губы его были плачевно сжаты, рост мал, большая голова неуклюже сидела на плечах; одевался он эксцентрично, по причине болезненного пункта; лета — около сорока пяти; положение в свете — одинокого человека. Таков был мистер Фиппэн, мученик диспепсии и гость священника в Лонг-Бэклэе.

Мисс Стерч, гувернантка, может быть коротко и ясно очерчена, если мы скажем, что эта девица никогда не была встревожена никакой мыслью и никаким чувством со дня рождения. Это была маленькая, кругленькая, невозмутимая, белокожая, улыбающаяся, чисто одетая девушка, настроенная

на исполнение известных обязанностей в известное время и обладающая неисчерпаемым запасом избитых разговоров, которые нескончаемой струей текли с ее уст, когда только ей в них случалась надобность, всегда в одинаковом количестве и всегда одинакового качества, во всякий час дня и при всякой перемене времени года. Мисс Стерч никогда не смеялась и никогда не плакала, а решилась придерживаться середины и постоянно улыбалась. Она улыбалась, когда сошла вниз в одно январское утро и объявила, что очень холодно. Она улыбалась, когда сошла вниз в июльское утро и сказала, что очень жарко. Она улыбалась, когда епископ приезжал раз в год навестить священника; она улыбалась, когда мальчик приходил от мясника каждое утро за приказаниями. Она улыбалась, когда мисс Луиза плакала у нее на груди и умоляла о снисхождении к ее географическим заблуждениям; она улыбалась, когда мистер Роберт прыгал к ней на колени и требовал, чтобы она завивала ему волосы. Что бы ни случилось в доме священника, ничто не могло столкнуть мисс Стерч с той ровной колеи, по которой она постоянно катилась и все с одинаковой скоростью. Если бы она жила в семье роялистов, во время народных войн в Англии, она бы призвала повара и заказала бы ему обед в то утро, как казнили Карла Первого. Если бы Шекспир ожил и пришел бы к священнику в субботу, в шесть

часов вечера, чтобы объяснить мисс Стерч, какая у него была цель написать трагедию Гамлет, она бы улыбалась и говорила бы, что это очень интересно, пока не пробило бы семь часов; а в это время попросила бы авонского Барда извинить ее и оставила бы его на середине фразы, чтобы пойти надсмотреть за горничной при поверке в книге белья. Достойная девушка, мисс Стерч! (как говорили про нее дамы в Лонг-Бэклэе); как она справедлива к детям и как привязана к домашним обязанностям; какие правильные суждения, какой приятный туш на фортепиано; довольно разговорчива; довольно не стара, может быть, немного склонна пополнеть в талии, а впрочем достойная девушка, надо отдать ей справедливость.

Над характеристическими особенностями воспитанников мисс Стерч не стоит долго останавливаться. Мисс Луиза постоянно приобретала себе насморк. Это была ее слабая сторона. Главным недостатком мисс Амелии была непреодолимая склонность к добавочным обедам и завтракам в незаконное время. Самые предосудительные проступки мистера Роберта происходили от способности рвать свои платья и тупости при изучении таблицы умножения. Добродетели всех трех были совершенно в одном роде — это были здоровые, правдивые, дети, неистово привязанные к мисс Стерч.

Чтобы дополнить галерею фамильных портретов, надо сделать еще один очерк, с самого священника. Доктор Ченнэри в физическом отношении делал честь своему званию. В нем было около шести футов росту и более двухсот фунтов весу; он был лучший игрок в кегли в Лонг-бэклэйском клубе; он был непогрешительный знаток в вине и баранине; он на кафедре никогда не приводил неприятных теорий о будущности народа, вне кафедры никогда ни с кем не ссорился. Его жизненный путь пролегал по самой середине ровного, высокого и гладкого шоссе. Боковые тропинки несчастий могли змеиться справа и слева вокруг него — он шел себе прямо и не обращал на них внимания. Молодые новобранцы церковного воинства, любящие нововведения, могли раскрывать перед самым его носом все тридцать девять статей устава, но усталые глаза ветерана не видели ни на волос далее его собственной подписи. Он ничего не знал в богословии; он за всю свою жизнь не дал себе минутного труда заглянуть в правила частного собора; он был невиновен и в писании памфлетов и совершенно был неспособен отыскать дорогу в Экзетерский зал. Короче, он был из духовных самый светский, но зато для рясы у него была редкая наружность. Прямой, мускулистый стан, при более двухста фунтов веса, без малейшего порока или изъяна, внушают особую

доверенность к стойкости — во всяком случае необходимом качестве всех возможных столпов, и в особенности драгоценном в столпе церковном.

Как только священник вошел в залу, где завтракали, дети бросились к нему с криками радости. Он строго соблюдал правила дисциплины в своевременном принятии пищи; теперь бой часов удостоверял его, что он четвертью часа опоздал к завтраку.

— Очень жаль, что заставил вас ждать, мисс Стерч, но нынешнее утро я имел достаточную на то причину.

— Не беспокойтесь, сэр, — сказала мисс Стерч, потирая с любезностью свои пухленькие ручки. — Прелестное утро! Я боюсь, чтоб не было опять такого же жаркого дня. Роберт, душа моя, у вас локоть на столе. Прелестное утро, прелестное в самом деле!

— Опять желудок не в порядке, а, Фиппэн? — спросил пастор, принимаясь резать ветчину.

Мистер Фиппэн наклонил печально голову, приложил свой желтый указательный палец, украшенный большим бирюзовым перстнем, к центральному краю своего светло-зеленого летнего сюртука, жалостно посмотрел на доктора Ченнэри и, вздохнув, сделал движение пальцем и достал из бокового кармана своего верхнего платья красного дерева ящичек, вынул оттуда хорошенькие

аптекарские весы, с необходимыми при них развесками, кусок инбирю и отполированную серебряную терку.

— Любезная мисс Стерч, простите инвалида! — сказал мистер Фиппэн, начиная слабо тереть инбирь в ближайшую чашку.

— Отгадайте, что заставило меня сегодня опоздать четверть часа? — сказал пастор, обводя таинственный взор вокруг стола.

— Прележал в постели, папа, — закричали трое детей, с торжеством хлопая руками.

— Что вы скажете, мисс Стерч? — спросил доктор Ченнэри.

Мисс Стерч по обыкновению улыбнулась, по обыкновению потеряла руки, по обыкновению скромно откашлялась, пристально посмотрела на чайник и попросила с самой милой учтивостью извинить ее, если она ничего не скажет.

— Твой черед, Фиппэн, — сказал священник. — Ну, отгадай, отчего я сегодня опоздал?

— Любезный друг, — сказал мистер Фиппэн, ударяя доктора братски по руке, — не проси меня угадывать, я знаю! Я видел, что ты вчера ел за обедом — видел, что ты пил после обеда: никакой желудок не устоит против этого, даже и твой. Угадать, отчего ты опоздал сегодня утром! Фу! Фу! Я знаю. Ты, бедная, добрая душа, ты принимал

лекарство!

— Не прикасался ни к одной капле в последние десять лет, слава Богу! — сказал доктор Ченнэри со взглядом, проникнутым благодарностью к небу. — Нет, нет; вы все ошибаетесь. Дело в том, что я был в церкви, и что вы думаете я там делал? Слушайте, мисс Стерч, слушайте, девочки, внимательно. Наконец бедный, слепой юноша Фрэнклэнд теперь счастливый человек: я обвенчал его с нашей милой Розамондой Тревертон сегодня утром!

— Не сказавши нам, папа! — крикнули разом обе девочки отчаянным и удивительным голосом. — Не сказавши нам, когда вы знаете, как мы были бы рады это видеть!

— Вот оттого-то я вам и не сказал, мои милые, — отвечал пастор. — Молодой Фрэнклэнд еще не так свyksя, бедняжка, со своим положением, чтоб перенести удивление и сожаления толпы к слепому жениху. У него было такое нервное отвращение сделаться предметом любопытства в день своей свадьбы, а Розамонда, как истинно добросердечная девушка, так беспокоилась о том, чтобы были исполнены его малейшие прихоти, что мы положили обвенчать их в такой час утра, когда нельзя было ожидать никакого праздного народу поблизости к церкви. Я был обязан словом сохранить в тайне назначенный день; также и мой

клерик Томас. Кроме нас двух, жениха с невестой и невестиного отца, капитана Тревертона, никто не знал.

— Тревертон! — вскрикнул мистер Фиппэн, протягивая свою чашку с натертым инбирем на дне к мисс Стерч, чтоб она ее наполнила. — Тревертон! (Не наливайте больше чаю, любезная мисс Стерч.) Как это удивительно! Я знаю это имя. (Долейте водой, пожалуйста.) Скажи мне, любезный доктор (Очень, очень благодарен; не надо сахару, он окисляется в желудке.), эта мисс Тревертон, которую вы сегодня венчали (Очень благодарен; молока тоже не нужно.), одна из корнских Тревертонов?

— Без сомнения! — присовокупил священник. — Отец ее, капитан Тревертон, глава этой фамилии. Хотя членов этой фамилии очень немного: капитан, Розамонда, да этот своенравный, старый скот, ее дядя, Андрей Тревертон, теперь последние остатки старого корня... богатая фамилия и знатная фамилия... в старые годы — друзья церкви и отечеству, знаете ли, и все такое.

— Согласны ли вы, сэр, чтоб Амелия получила вторую порцию хлеба с мармеладом? — спросила мисс Стерч, обращаясь к доктору Ченнэри, с полным несознанием, что прерывает его. Не имея в своей голове отдельного места, куда бы она могла откладывать вещи до времени, мисс

Стерч всегда делала вопросы и замечания в ту минуту, как ей самой что-нибудь делалось известно, не дожидаясь начала, середины и конца разговора, происходящего в ее присутствии. Она неизменно участвовала в разговоре как внимательная слушательница, но сама говорила только тогда, когда разговор относился прямо к ней.

— О, дайте ей вторую порцию, что за беда! — сказал беззаботно священник. — Ей надо объесться, так не все ли равно мармеладом с хлебом или чем другим.

— Бедная, добрая душа, — воскликнул мистер Фиппэн, — взгляни на меня, какая я развалина, и не говори таких поразительно бессознательных слов, чтоб можно было допустить объесться нашу маленькую кроткую Амелию. Обремените желудок смолоду, что тогда будет с пищеварением в зрелые лета? Вещь, которую простонародие называет внутренностью, — участие мисс Стерч в здоровье ее прелестных воспитанников послужит мне извинением в том, что я вдаюсь в физиологические подробности, — это ничто иное как аппарат. С точки зрения пищеварения, мисс Стерч, самые юные и прекрасные между нами не больше как аппарат. Подмазывайте свои колеса, коли хотите, но берегитесь засорить их. Мучные пуддинги и бараньи котлеты, бараньи котлеты и мучные

пуддинги — вот лозунг, который должен бы быть принят, если б от меня зависело, по всей Англии. Смотри сюда, милое дитя, смотри на меня. Эти маленькие весы не игрушка, а страшная вещь. Гляди! Я кладу на весы, с одной стороны сухой хлеб (черствый, сухой хлеб, Амелия!), с другой — несколько унций весу. «Мистер Фиппэн! Кушайте с весу. Мистер Фиппэн! Кушайте каждый день одинаковое количество, ни на волос больше. Мистер Фиппэн! Переполните эту меру (хоть бы даже черствым, сухим хлебом), если осмелитесь: Амелия, душа моя, это не шутка, это то, что говорили мне доктора, доктора, дитя мое, которые делали исследования в моем аппарате во всех направлениях, в продолжение тридцати лет, посредством маленьких пилюль, и не нашли, где засорились мои колеса. Подумай об этом, Амелия, подумай о засоренном аппарате мистера Фиппэна и скажи: «Нет, благодарю вас, в будущий раз». Мисс Стерч, тысячу раз прошу у вас извинения, что вступаю в ваши владения, но участие к этому бедному ребенку, мой горький опыт мучений, подобных стоголавой гидре... Ченнэри, добрая, честная душа, о чем бишь ты говорил? А, об невесте, об интересной невесте! Ну, так она из корнских Тревертонов? Я немного слышал об Андрее, несколько лет тому. Эксцентрик и мизантроп. Холостяк, как и я, мисс Стерч.

Диспептик, как и я, любезная Амелия. Совсем не то, что его брат, капитан, как я думаю? Итак, она вышла замуж? Прелестная девушка, нет сомнения. Прелестная девушка!

— Милей, правдивей, лучше ее не бывало на свете, — сказал священник.

— Очень живая, энергическая особа, — сказала мисс Стерч.

— Как я буду жалеть об ней! — сказала мисс Луиза. — Никто так не забавлял меня, как Розамонда, когда я лежала больная с моим несносным насморком.

— Она нас угощала такими вкусными ранними ужинами, — сказала мисс Амелия.

— Это единственная девушка, которая в состоянии играть с мальчиками, — сказал мистер Роберт. — Она могла поймать мяч, мистер Фиппэн, сэръ, одной рукой и скатиться с горы на ногах.

— Помилуй Бог! — сказал мистер Фиппэн. — Вот странная жена для слепого человека! Ты сказал, что он слеп, любезный доктор, не правда ли, ты это сказал? Как бишь его зовут? Вы не будете слишком строго судить меня за мою беспамятность, мисс Стерч? Когда индижестия¹ сделала опустошения в теле, это отзывается и на умственных способностях.

¹ Индижестия — несварение желудка.

Мистер Фрэнк, ведь, кажется, слепой от рождения? Жалко! Жалко!

— Нет, нет — Фрэнклэнд, — отвечал пастор. — Леонард Фрэнклэнд. И вовсе слепой не от рождения. Не дальше как год он видел так же хорошо, как и мы.

— Несчастный случай, верно! — сказал мистер Фиппэн. — Извините меня, если я возьму кресло? Несколько наклонное положение очень помогает мне после пищи. Так с его глазами был несчастный случай? Ах, какое наслаждение сидеть в таком покойном кресле!

— Едва ли случай, — сказал доктор Ченнэри. — Леонард Фрэнклэнд был один из таких детей, которых трудно воспитывать: во-первых, страшно слабое сложение. Со временем он это превозмог и рос таким тихим, смиренным, порядочным мальчиком — совершенно не похожим на моего сына — таким милым, что, как говорится, с ним легко было справиться. Вот хорошо: явилась у него склонность к механике (все это я рассказываю, чтоб дать понятие об его слепоте) и он, переходя от одного занятия такого рода к другому, стал наконец делать часы. Странное занятие для мальчика, но все, что требовало тонкого осязания и большого, последовательного терпения, именно и могло развлечь и занять Леонарда. Я, бывало, говорю его отцу с матерью:

«Ссадите его с этого стула, разбейте эти увеличительные стекла и пришлите его ко мне: я посажу его на деревянную лошадь и научу его играть в лапту». Только это были напрасные слова. Вероятно, родители его знали лучше и говорили, что его надо тешить. Хорошо, все шло так, пока довольно спокойно, как вдруг он опять сильно занемог, как я думаю, оттого, что делал мало движения. Как только он поднялся на ноги, так опять возвратился к своему прежнему часовому мастерству. Только беда-то была за плечами. Последний раз, как он этим занимался, поправлял, бедняжка, мои часы — вот они; идут так же верно, как песочные часы. Они попали в карман гораздо после того, как я узнал, что у него сделалась сильная боль в затылке и что у него перед глазами все мелькают какие-то пятна. Ему бы давать побольше портвейну, да заставлять ездить часа по три в день на смирном понни — я так и советовал. А они, вместо того чтобы послушаться, послали в Лондон за докторами, растравили ему за ушами и между плеч, и начали поить мальчика Меркурием, и заперли его в темную комнату. Ничего не помогло. Зрение все делалось хуже и хуже, он моргал более и более, наконец оно совсем потухло, как пламя свечи. Мать его умерла — к счастью для нее, бедная — прежде, чем это случилось. Отец чуть не обезумел, повез его к окулистам в Лондон, к

окулистам в Париж. Все, что они сделали, это то, что назвали слепоту длинным именем и объявили, что будет напрасно и бесполезно пытаться делать операцию. Некоторые сказали, что это следствие продолжительной слабости, которой он дважды страдал после болезни. Другие нашли, что у него был апоплектический удар в мозгу. Все покачали головой, услышав об его часовых занятиях. Так его и привезли домой слепого; и слепым он останется, бедный, добрый юноша! До конца своих дней.

— Ты меня смущаешь, любезный Ченнэри, ты меня ужасно смущаешь, — сказал мистер Фиппэн. — В особенности когда развиваешь эту теорию о продолжительности слабости после болезни? Боже милосердный! Как же, какая у меня была продолжительная слабость — да и теперь еще. Пятна он видел перед глазами? Я вижу пятна, пятна, прыгающие черные пятна, черные, желчные пятна. Честное слово, Ченнэри, это на меня прямо подействовало — все мои сочувствия болезненно потрясены — я чувствую эту историю слепоты в каждом нерве моего тела; уверяю тебя?

— Вы бы с трудом поверили, глядя на Леонарда, что он слеп, — сказала мисс Луиза, вмешавшись в разговор с той целью, чтобы возвратить мистеру Фиппэну душевное спокойствие. — Кроме того, что у него глаза смотрят спокойней, чем у других, в них нет

разницы. Кто этот знаменитый характер, о котором вы нам говорили, мисс Стерч, который был слеп и так же этого не показывал, как Леонард Фрэнклэнд?

— Мильтон, моя душа. Я просила вас запомнить, что он был самый знаменитый эпический поэт Англии, — отвечала мисс Стерч с кротостью. — Он поэтически описывает свою слепоту, говоря, что причиной ее было «непроглядное бельмо». Вы будете читать об этом, Луиза. После того, как мы займемся немножко французским языком, мы займемся немножко Мильтоном нынче поутру. Тише, милая, ваш папа говорит.

— Бедный молодой Фрэнклэнд! — нежно проговорил священник. — Это доброе, нежное благородное создание, с которым я повенчал его ныне поутру, ниспослано, кажется, самими небесами на утление его горя. Если есть человеческое существо, способное осчастливить его на всю жизнь, так это Розамонда Тревертон.

— Она принесла жертву, — сказал мистер Фиппэн, — и я уважаю ее за это: я сам принес жертву, оставшись холостым. И в самом деле, это обстоятельство было необходимо для человечества. Мог ли я без зазрения совести, при таком несварении желудка, как мое, соединиться с одним из членов лучшей части творения? Нет: я олицетворенная жертва и питаю братское чувство

ко всем, мне подобным. Сильно она плакала, Ченнэри, когда вы ее венчали?

— Плакала! — презрительно отозвался священник. — Розамонда Тревертон не из плаксивых и не из сентиментальных. Она милая, покорная, добросердечная, тихая девушка: говорит правду, если говорит человеку, что хочет быть его женою. А вы думаете, что она вышла по принуждению. Если бы она не любила мужа всем сердцем и всею душою, она давно могла бы выйти замуж за кого бы ей только захотелось. Но они были помолвлены гораздо прежде несчастья, поразившего молодого Фрэнклэнда: их родители, как близкие соседи, несколько лет уже ударили по рукам. Ну вот, когда Леонард ослеп, по врожденной совестливости он предложил Розамонде отказаться от ее обязательства. Если бы ты мог прочесть, Фиппэн, письмо, которое она написала ему по этому случаю! Сознаюсь, что я плакал как ребенок, читая. Я должен был повенчать их тотчас же по прочтении письма, но старый Фрэнклэнд был человек беспокойный, пунктуальный и настоял, чтобы назначено было полгода испытания для проверки чувств Розамонды. Он умер прежде срока, и это обстоятельство еще раз отдалило свадьбу. Только никакие отсрочки не были властны над Розамондой: не шесть месяцев — шесть лет не могли бы изменить ее. Вот нынче утром она была

так же нежна к своему бедному слепому страдальцу, как в первый день их помолвки. «Ты никогда не пережил бы ни одного грустного столкновения во всю свою жизнь, Лэнни, если б я была в состоянии помочь горю». Это были первые ее слова, когда мы все возвратились из церкви. «Я вас слышу, Розамонда, — сказал я, — помните это». «И будете моим судьей, — ответила она с быстротою молнии. — Мы возвратимся в Лонг-Бэклэй, и вы спросите Лэнни, сдержала ли я мое слово?» Тут она вклеила мне, Господь ее прости, такой поцелуй, что услышали бы его и в здешнем доме. Мы будем пить за обедом за ее здоровье, мисс Стерч, мы будем пить за здоровье обоих их из лучшей бутылки с моего погреба.

— Из стакана с водой, что до меня касается, — мрачно заметил мистер Фиппэн. — Но любезный Ченнэри, говоря о родителях этой милой молодой четы, ты упомянул, что они были близкими соседями здесь в Лонг-Бэклэе. Я с сожалением замечаю, что память моя тупеет, но мне казалось, что капитан Тревертон был старший из братьев и жил всегда в семейном поместье, в Корнуэлле?

— Так и было, — отвечал священник, — пока была жива жена его. Но с тех пор, когда она умерла, а это было в двадцать девятом году; постой, теперь у нас сорок четвертый, значит, этому будет...

Священник замолчал на мгновение и стал соображать, взглянув на мисс Стерч.

— Этому будет пятнадцать лет, сэр, — подсказала мисс Стерч, с сладчайшей своей улыбкой.

— Без сомнения, — продолжал доктор Ченнэри. — Хорошо. С тех пор, как мистрисс Тревертон умерла пятнадцать лет тому, капитан Тревертон даже и близко не подъезжал к Портдженской башне. Да это бы еще ничего, Фиппэн! При первом удобном случае он продал имение, все, до последней соломинки, рудник, рыбные ловли, и все-все за сорок тысяч фунтов стерлингов.

— Может ли это быть, — вскрикнул мистер Фиппэн. — Что же, там им воздух был нездоров? Мне кажется, что местные произведения, собственно съедобные, должны быть очень грубы в этих варварских странах? Кто купил имение?

— Отец Леонарда Фрэнклэнда, — ответил священник. — Продажа Портдженской башни — длинная история и к ней примешано очень много любопытных обстоятельств. Не сделать ли нам тур в саду? Я расскажу тебе обо всем за утренней сигаркой. Мисс Стерч, если вам меня будет нужно, я буду на лужайке. Девочки, вы знаете свои уроки? Боб, помни, что в сених стоит палка, а в уборной лежит березовый прут. Пойдем, Фиппэн, вставай с

кресла. Ведь ты не откажешься от прогулки в саду?

— Не откажусь, любезный друг, если ты дашь мне зонтик и позволишь мне взять мой складной стул, — отвечал мистер Фиппэн. — Мое зрение слишком слабо, чтобы выносить солнечный свет. Я не могу ходить далеко без роздыха. Как только почувствую слабость, мисс Стерч, так разложу мой стул и сяду, невзирая ни на какие приличия. Я готов, Ченнэри, если ты готов, готов и в саду гулять, и слушать историю о продаже Портдженской башни. Ты говоришь, что прелюбопытная история, не правда ли?

— Я говорю, что с ней связаны некоторые любопытные обстоятельства, — отвечал священник. — Вот послушаешь, так сам согласишься. Пойдем. Твой складной стул и всякие зонтики найдешь в сенях.

При этих словах, доктор Ченнэри раскрыл свою сигарочницу и вышел из столовой.

Глава IV. ПРОДАЖА ПОРТДЖЕНСКОЙ БАШНИ

— Как прекрасно! Как пасторально! Как успокоительно для нервов! — говорил мистер Фиппэн, глядя сентиментально на лужайку, расстилавшуюся за домом священника, под тенью легчайшего зонтика, какой он мог только достать в

зале. — Три года прошло, Ченнэри, — три мучительных года для меня, но не нужно на этом останавливаться, — с тех пор как я в последний раз стоял на этой лужайке. Вот окно твоей старой студии, где у меня был припадок сердцебиения в последний раз, когда поспела земляника, помнишь? А, вот и учебная комната! Могу ли я забыть любезную мисс Стерч? Она вышла ко мне из этой комнаты, — ангел-утешитель с содой и инбирем, — так помогала мне, так внимательно размешивала его, так непритворно огорчалась, что в доме не было нужного лекарства! Мне так отрадны эти воспоминания, Ченнэри; они такое же доставляют мне наслаждение, как тебе сигара... однако, не можешь ли ты идти с этой стороны, друг мой? Я люблю запах, но дым для меня лишний. Благодарю. Теперь об этой истории — этой занимательной истории? Как бишь название старинного замка, это меня так интересуется, начинается с П, наверно?

— Портдженская башня, — отвечал священник.

— Именно, — присовокупил мистер Фиппэн, слегка помахивая зонтиком с одного плеча на другое. — Но что же, скажи на милость, могло заставить капитана Тревертона продать Портдженскую башню?

— Я думаю, причина была та, что он не мог видеть этого места после смерти своей жены, —

отвечал доктор Ченнэри. — Имение, как ты знаешь, за наследниками укреплено не было, так что капитану никакого не было труда с ним расстаться, кроме того, чтобы найти покупателя.

— Почему же бы не продать брату? — спросил мистер Фиппэн. — Почему бы не продать нашему эксцентрическому другу Андрею Тревертону?

— Не называй его моим другом, — сказал пастор. — Дрянной, низкий, циничный, себялюбивый, презренный старик! Нечего качать головой, Фиппэн, и стараться казаться обиженным. Я знаю прошлое Андрея Тревертона так же хорошо, как и ты. Я знаю, что с ним поступил самым подлым и неблагодарным манером школьный его приятель, взяв у него все, что тот мог дать, и надув его самым мошенническим образом. Я все это знаю. Но один неблагодарный поступок не может оправдать человека, который отлучился от общества и вносит хулу на все человечество, как будто оно тяготит землю своим присутствием. Я сам слышал, как старый скот говорил, что величайший благодетель для нашего поколения был бы второй Ирод, который не допустил бы родиться от нас другому племени. Может ли человек, произносящий такие слова, быть другом человечества или чувствовать какое-нибудь уважение к себе и другим?

— Друг мой! — сказал мистер Фиппэн, схватив руку священника и таинственно понижая голос. — Любезный и почтенный друг мой! Я уважаю твое благородное негодование на человека, проповедовавшего такие крайние мизантропические чувства, но — признаюсь тебе, Ченнэри, под страшной тайной — бывают минуты, по утрам в особенности, когда мое пищеварение в таком состоянии, что я готов согласиться с этим ужасным истребителем Андреем Тревертоном! Я просыпаюсь, у меня язык черный, как уголь, я ползу к зеркалу и гляжу на него, и говорю самому себе: пусть лучше прекратится человеческий род, чем ему продолжаться таким образом!

— Пф! Пф! — крикнул священник, выслушав исповедь мистера Фиппэна и помирая со смеху. — Выпей стакан крепкого пива в другой раз, если у тебя будет язык в таком состоянии, и ты пожелаешь продолжения той части человечества, которая занимается пивоварством, без всякого сомнения. Но возвратимся к Портдженской башне, или я никогда не доскажу этой истории. Когда капитан Тревертон забрал себе в голову продать это имение, я не сомневаюсь, что при обыкновенном порядке вещей он предложил бы его своему брату (который наследовал, как ты знаешь, материнское имение), имея в виду, разумеется, оставить имение в своем роде. Но так как дела были в таком положении (что

продолжается, к сожалению, и доныне), капитан не мог делать Андрею никаких личных предложений; тогда, как и теперь, у них не было ни словесных, ни письменных сношений. Грустно сказать, но хуже ссоры, как между этими двумя братьями, я и не слыхивал.

— Извини меня, любезный друг, — сказал мистер Фиппэн, открывая складной стул, который до тех пор мотался, прицепленный шелковыми шнурками к загнутой ручке зонтика. — Могу я сесть, прежде чем ты будешь продолжать? Меня несколько возбудила эта часть рассказа, а я не смею утомляться. Сделай одолжение, продолжай. Я не думаю, чтобы ножки моего складного стула оставили следы на лугу. Я так легок, почти скелет, в самом деле. Продолжай же!

— Ты, вероятно, слышал, — продолжал пастор, — что капитан Тревертон уже в летах женился на актрисе. Это была женщина горячего темперамента, но безукоризненного свойства; влюбленная в своего мужа, как только женщина способна; и вообще, по моему воззрению, отличная для него жена. Несмотря на то, друзья капитана, как водится, подняли обычный крик, а брат капитана, как ближайший родственник, взялся попытаться расторгнуть этот брак самым неделикатным и обидным манером. Не успевши в этом, ненавидя бедную женщину, как яд, он оставил братний дом,

говоря, между прочими дикими речами, одну такую ужасную вещь об невесте, которую — которую, клянусь честью, Фиппэн, — мне стыдно повторить. Каковы бы ни были эти слова, их к несчастью передала мистрисс Тревертон; а они были такого рода, что ни одна женщина, даже и не такая вспыльчивая, как жена капитана, никогда не простит. Между братьями последовало свидание, имевшее, как ты можешь себе вообразить, самые горестные последствия. Они расстались очень печально. Капитан объявил в пылу гнева, что у Андрея никогда не было ни одного благородного побуждения с тех пор, как он родился, и что он умрет, не полюбив ни одно существо в мире. Андрей отвечал, что если у него нет сердца, так есть память и что он будет помнить эти прощальные слова, пока не умрет. Так они и расстались. Два раза после того капитан пытался с ним примириться. Первый раз, когда родилась его дочь Розамонда; второй раз, когда умерла мистрисс Тревертон. Оба раза старший брат писал, что если младший откажется от тех страшных слов, которые он говорил про свою невестку, ему будет предложено всякое удовлетворение, чтобы загладить неприятности, которые наговорил ему капитан, разгоряченный гневом в последний раз как они встретились. Никакого ответа на письмо не было от Андрея: и вражда братьев продолжается до

сих пор. Ты теперь понимаешь, почему капитан Тревертон не мог предварительно узнать расположения Андрея, прежде чем не объявил публично о своем намерении продать Портдженскую башню?

Мистер Фиппэн объяснил в ответ на это воззвание, что он очень хорошо понимает. Пустив несколько сильных клубов дыма из сигары (которая не раз, в продолжение рассказа, готова была потухнуть), Ченнери продолжал:

— Хорошо; дом, земли, рудники, рыбные ловли Портдженны, все было объявлено в продажу вскоре после смерти мистрисс Тревертон; но никто не вызывался купить имения. Разоренное состояние дома, плохая обработка земли, законные затруднения относительно рудника и арендные затруднения относительно сборов доходов, все это вместе представляло из имения, по выражению акционеров, плохой пай. Не успев продать поместья, капитан Тревертон все-таки не изменил своего намерения переменить место жительства. Смерть жены все еще терзала ему сердце, потому что, по всем слухам, он так же нежно любил ее, как она его, и даже один вид дома, где совершалось горестное событие жизни, сделался ему ненавистен. Он переехал с маленькой дочкой и с бывшей ее гувернанткой, родственницей мистрисс Тревертон, к нам по соседству и нанял красивый, небольшой

коттедж, смежный с церковными полями, неподалеку от большого дома, который ты, вероятно, заметил; сад еще обнесен высоким забором и примыкает к Лондонской дороге. В то время в этом доме жили отец и мать Леонарда Фрэнклэнда. Новые соседи скоро подружились, и поэтому случилось, что повенчанная мною нынешним утром чета выросла вместе и что дети полюбили один другого прежде еще, чем с них сняли фартучки.

— Ченнэри, любезный друг, тебе не кажется, что я сижу совсем на один бок, не правда ли, на один бок? — крикнул мистер Фиппэн, внезапно и с испуганным взглядом перебив рассказ священника. — Мне очень жаль, что я прерываю тебя, но достоверно, что в ваших краях трава удивительно нежна. Одна из ножек моего складного стула становится короче и короче, каждое мгновение. Я сверлю дыру! Я клонюсь вперед! Милосердное небо! Чувствую, что падаю — упаду. Ченнэри, клянусь жизнью, упаду!

— Что ж за беда такая! — крикнул священник, приподнимая сначала самого мистера Фиппэна, а потом его складной стул, на дорожку: на ней ты не просверлишь дыру. Ну, что еще с тобой?

— Сердцебиение, — проговорил мистер Фиппэн, бросив свой зонтик и прижав руку к

сердцу, — сердцебиение и желчь. Я опять вижу эти черные пятна, эти адские черные пятна: так и скачут перед глазами. Ченнэри, не спросить ли тебе одного из приятелей твоих, астрономов, о свойстве твоей травы? Помяни мое слово, твоя лужайка гораздо мягче, чем следует. Лужайка! — презрительно повторил про себя мистер Фиппэн, наклоняясь, чтоб поднять зонтик. — Какая это лужайка — это болото!

— Сиди, сиди, — сказал священник, — и не достаивай ни малейшим вниманием ни сердцебиения, ни черных пятен. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? Чего-нибудь лекарственного, или пива, или чего?

— Нет, нет! Мне так досадно, что я тебя потревожил, — отвечал мистер Фиппэн. — Я соглашусь лучше страдать, много лучше. Мне кажется, что если бы ты продолжал свой рассказ, Ченнэри, это бы меня подкрепило. Я не имею ни малейшей идеи, к чему он ведет, но помнится мне, что ты начал рассказывать что-то очень занимательное о фартуках.

— Пустяки! — сказал доктор Ченнэри. — Я хотел только рассказать тебе о взаимной привязанности двух детей, которые теперь выросли и составили счастливую чету. Хотел я также сказать тебе, что капитан Тревертон, вскоре после переезда к нам в соседстве, обратился снова к служебной

деятельности. Ничто более не могло бы наполнить пустоты, оставленной в его жизни смертью мистрисс Тревертон. При его связях с адмиралтейством ему нетрудно при первом желании получить корабль, и теперь он редко бывает на берегу — большей частью в море, хотя его дочь и приятели говорят, что он видимо стареет. Не гляди так тоскливо, Фиппэн: я не вдаюсь в большие подробности. Мне нужно было только обозначить главные обстоятельства, и теперь я перейду к самой занимательной части моего рассказа — к продаже Портдженской башни. Что с тобой? Тебе опять надобно встать?

Да, мистеру Фиппэну опять надобно было бы встать, по тому рассуждению, что лучшим средством унять сердцебиение и рассеять черные пятна в глазах оказалась небольшая прогулка. Ему было очень совестно, объяснил он, причинять какие-либо затруднения, но если бы достойный друг его Ченнэри, не приступая к продолжению своего в высшей степени занимательного рассказа, мог дать ему, Фиппэну, руку, понести складной стул и потихоньку направиться под окошко классной комнаты, чтобы быть в приличном расстоянии от мисс Стерч, на случай, буде понадобится, прибегнуть к последнему средству — приему нервокрепительного лекарства? Неистощимое добродушие священника устояло и

против этой пытки, причиненной диспептическими недугами мистера Фиппэна: он исполнил все требования своего приятеля и стал продолжать рассказ, невольно войдя в роль доброго родителя, старающегося всеми силами забавлять болезненного ребенка.

— Я говорил тебе, — продолжил он, — что старший мистер Фрэнклэнд и капитан Тревертон были у нас близкими соседями. Через несколько дней знакомства один узнал от другого что Портдженская башня продается. Услыхав об этом, старый Фрэнклэнд расспросил слегка об местности, но не сказал ни слова насчет покупки. Вскоре после того капитан получил корабль и вышел в море. В его отсутствие старый Франклэнд отправился частным образом в Корнуэль осмотреть имение и расспросить занимающихся домовым и сельским хозяйством о всех удобствах и неудобствах поместья. Впрочем, он никому не говорил ни слова до тех пор, пока капитан Тревертон не воротился из первого рейса. Тогда в одно утро он сказал своим покойным и решительным голосом: Тревертон, если вы хотите продать Портдженскую башню за свою цену, так как вы уже решились продать ее с аукциона, напишите к вашему нотариусу, чтобы он привез ко мне документы и получил деньги.

— Разумеется, капитан Тревертон был несколько удивлен таким поспешным

предложением, но те, кто знают, как я, историю старого Фрэнклэнда, не очень-то удивились. Состояние его нажито торговлею, и он всегда имел глупость стыдиться такого простого и почетного факта. Дело-то в том, что его предки принадлежали к сельскому дворянству и имели значение перед гражданской войною: так вот главная амбиция у старика была в том, чтобы прикрыть звание торговца дипломом сельского дворянства и оставить сына в качестве сквайра² наследником большого имения и значительного местного влияния. Он был бы готов пожертвовать половиной состояния, чтобы выполнить эту великую задачу; но половины его состояния было недостаточно для приобретения большого поместья в таком земледельческом крае, как наш. Цены на землю высоки. Такое обширное поместье, как Портдженна, стоило бы вдвое дороже против цены, запрошенной за него капитаном, если бы находилось в здешнем округе. Старый Фрэнклэнд очень хорошо знал это обстоятельство и придавал ему необыкновенную важность. Кроме того, что-нибудь стоили феодальная наружность

² Сквайр — сокращенная форма английского титула эсквайр — обращение, присоединяемое к фамилии помещика в Англии.

Портдженской башни, а также права на рудник и рыбные ловли, передававшиеся также при продаже: все это льстило надеждам старика восстановить прежнее величие его рода. В Портдженне он, а после него сын, могли властвовать, как он думал, в широких размерах, могли направить, по своей воле и желанию, промышленность целых сотен бедняков, рассеянных по берегу или мучившихся в небольших деревушках. Предприятие было искусительно и могло осуществиться за сорок тысяч фунтов стерлингов, то есть десятью тысячами меньше той суммы, какую он мысленно назначил для преобразования себя из простых купцов в великолепного землевладельца и джентльмена. Все, кто знали эти факты, не очень удивились, как я сказал, поспешности Фрэнклэнда в покупке Портдженской башни. Не стоит и говорить, что капитан Тревертон и не подумал затягивать дело со своей стороны. Имение перешло в другие руки. И отправился старый Фрэнклэнд, с целым хвостом лондонских простачков за колесами, обрабатывать рудник и производить рыбную ловлю по новым научным правилам и отделять сверху донизу старый дом заново, под надзором некоего джентльмена, называвшего себя архитектором, но с виду похожего на переодетого католического монаха. Каких-каких не было составлено изумительных планов и проектов! И чем же, ты

думаешь, все это кончилось?

— Говорите, говорите, любезный товарищ! — подхватил мистер Фиппэн, и в то же время в уме его мелькнула мысль: хотел бы я знать: хранит ли мисс Стерч камфору в своей фамильной аптеке?

— Из всего этого, — заговорил священник, — вышло то, что все планы рушились. Корнийские жители приняли его как незаконного владельца. Древность его фамилии не произвела на них никакого впечатления. Может быть, действительно он происходил от древней фамилии, но не был корниец. За Тревертонами они готовы были идти на край света; но для Фрэнклэнда никто из них не захотел сделать и шагу. Что касается до рудников, то они, кажется, разделяли чувства людей. Лондонские умники, на основании глубоких ученых соображений, изрыли их во всех направлениях; каждый кусок руды, стоивший не более шести пенсов, обходился им в пять фунтов. С рыбными ловлями было не лучше. Новый проект соления сардели, который в теории был чудом экономии, на деле оказался чудом сумасбродства. Ссора с архитектором, походившим, как я заметил, на переодетого католического монаха, спасла нового владельца Портдженны от окончательного разорения; без того он убил бы весь свой капитал на восстановление и украшение ряда комнат, лежащих на северной стороне дома, который пятьдесят с

лишком лет был сущей развалиной. Короче, израсходовав без всякой пользы столько тысяч фунтов, что я и сосчитать не умею, старый Фрэнклэнд отступился наконец от всех своих планов, поручил дом своему дворецкому, обязав его не употреблять на улучшение строения ни одного фартинга,³ и возвратился в нашу сторону. Возвратившись назад, он встретил на берегу капитана Тревертона и в присутствии его слишком резко отозвался о Портдженне и об окрестных жителях. Это посеяло вражду между двумя соседями, которая, вероятно, прекратила бы всякие сношения между ними, если бы не дети; они продолжали видаться так же часто, как прежде, и мало-помалу рассеяли неприязненность отцов, обратив ее просто в шутку. В этом, по моему мнению, заключается самая любопытная часть моей истории. Важнейшие интересы семейства зависели от молодых людей, которые влюбились друг в друга. И то была самая романтическая любовь, тогда как отцы их на первый план ставили мирские интересы. Никогда мне не случилось соединить двух влюбленных с такой прекрасной целью, как в то утро. В имение, купленное у капитана,

³ Фартинг — самая мелкая английская монета, равная 1/4 пенса.

предназначенное в наследство Леонарду, дочь его должна была возвратиться как хозяйка и как единственное дитя должна была по смерти отца получить в приданое деньги, заплаченные старым Фрэнклэндом за Портдженну. Я не знаю, что вы скажете о начале и середине моей повести, но конец должен вам понравиться. Слышали ли вы когда-нибудь о женихе и невесте, которые бы вступали в жизнь при такой блестящей обстановке?

Прежде нежели мистер Фиппэн собрался отвечать на вопрос священника, мисс Стерч высунула голову из окна и, увидев, что они приближаются к дому, обратилась к ним со своей неизменной улыбкой.

— Извините, сэръ, что я вас беспокоила, — отнеслась она к доктору Ченнэри, — мне кажется, что Роберт не может совладать сегодня с таблицей умножения.

— На чем он остановился? — спросил доктор.

— На семью восемь, сэръ.

— Боб! — крикнул он через окно. — Семью восемь?

— Сорок три, — отвечал плаксивый голос.

— Я сейчас примусь за палку, — сказал доктор. — Смотри! Семью...

— Любезный доктор, — прервал мистер Фиппэн, — прежде чем вы употребите в дело вашу палку, позвольте мне уйти отсюда и избавить мисс

Стерч от неудовольствия слышать визг этого несчастного мальчишки. Есть у вас камфора, мисс, — прибавил он, обращаясь к мисс Стерч. — Мои нервы так расстроены, что я умоляю вас не отказать мне в моей просьбе.

Между тем как мисс Стерч, всегда возмущавшаяся до глубины души отеческими мерами, поднималась на лестницу со своей обыкновенной улыбкой, мистер Боб, оставшийся наедине со своей сестрой, вытащил из кармана три старые, засохшие леденца и предложил их ей, прося взамен открытие таинственной цифры.

— Ты их любишь, — прошептал Боб.

— О, да, — отвечала мисс Амелия, задетая за живую струну.

— Скажите же мне, сколько семью восемь?

— Пятьдесят шесть, — отвечала Амелия.

— Точно?

— Да пятьдесят шесть.

Леденцы, перейдя из рук в руки, отвратили домашнюю драму; мисс Стерч явилась с камфорой, которой мистер Фиппэн успокоил свои нервы, а докторская палка отправилась на свое место, где ей предстояло оставаться до другого дня.

— Очень вам благодарен, мисс, — произнес мистер Фиппэн, обратясь к мисс Стерч. — А вы, доктор, — прибавил он, дружески сжимая руку Чэннери, — рассказали прекрасную историю. Но

хотя ваш здравый ум, которым вы обязаны вашему здоровому желудку, и отвергает мою болезненную философию, но я вам все-таки скажу — не забывайте облака, что явились над теми двумя деревьями. Посмотрите, они стали уже заметно темнее.

Глава V. МОЛОДЫЕ

В Сент-Свитинс-он-Си, под мирной кровлей своей матушки-вдовы вела скромную и тихую жизнь мисс Мовлем. Весною 1844 года сердце старушки было порадовано на склоне жизни маленьким наследством. Подумав, как бы лучше употребить полученные деньги, рассудительная вдова решила, наконец, купить мебель, привести в лучшее состояние первый и второй этажи своего дома и вывесить записку, возвещавшую публике, что в ее доме отдаются в наем меблированные комнаты. Летом план старухи был приведен в исполнение, и не прошло недели, как явилась какая-то почтенная особа в черном, осмотрела комнаты, нашла их весьма удобными и наняла на месяц для новобрачных, которые должны были вскоре приехать. Эта особа был никто другой, как слуга мистера Фрэнклэнда, и нанимал он комнаты для мистера и мистрисс Фрэнклэнд.

Читатель может догадаться, что материнское

участие, которое мистрисс Мовлем почувствовала к своим первым жильцам, было самое искреннее и живое; но мы можем назвать его апатией в сравнении с тем глубоким, сердечным участием, какое принимала ее дочь в новобрачных. С той минуты, как мистер и мистрисс Фрэнклэнд вступили в дом, она принялась изучать их с жаром, свойственным ученому, попавшему на какое-нибудь новое, никем до того не замеченное явление. Ни одной удобной минуты не пропускала она, чтобы не прокрасться по лестнице, произвести наблюдения, и потом спешила к мамаше с собранными новостями. В течение первой недели, проведенной молодыми в доме мистрисс Мовлем, глаза и уши ее дочери были постоянно в самом напряженном состоянии, так что она могла бы записать недельный дневник жизни мистера и мистрисс Фрэнклэнд с точностью и подробностью Самуэля Пеписа.⁴

Но чем более узнаешь, тем более представляется новых вопросов для разрешения. Открытия, сделанные мисс Мовлем в течение семи дней, повлекли ее к дальнейшим исследованиям. На восьмое утро, отнеши поднос с завтраком, неутомимая наблюдательница остановилась по

⁴ С. Пепис — английский писатель.

своему обыкновению на лестнице, припала к замочной скважине и напрягла все свое внимание. Оставшись в таком положении минут пять, она стремглав бросилась в кухню сообщить свежие новости своей достопочтенной матушке.

— Как бы вы думали, что она делает? — вскричала мисс Мовлем, вбежав в кухню, простерши руки кверху и широко открыв глаза.

— Конечно вздор какой-нибудь, — отвечала мать с саркастической улыбкой.

— Она сидит у него на коленях! Скажите, сидели ли вы когда-нибудь на коленях у отца?

— Конечно, нет. Когда я вышла замуж за твоего отца, мы не были такими безрассудными.

— Она кладет руки на его плечи; обе руки, мамаша, — продолжала мисс Мовлем, приходя в волнение, — обнимает его за шею, обеими руками, и прижимает его так крепко, как только может.

— Пустое, я никогда этому не поверю! — воскликнула в негодовании мистрисс Мовлем. — Как можно, чтоб такая богатая, образованная леди вела себя как какая-нибудь горничная с своим любовником. Не может быть! Не говори мне этих пустяков, я не поверю!

Но то была суцая правда. В комнате стояли отличные кресла, набитые самым лучшим конским волосом. Мистрисс Фрэнклэнд могла спокойно сидеть на весьма удобных креслах, могла

обогащать и услаждать свой ум археологическими сведениями, богословскими истинами, красотами поэтическими, но, такова суетность женской натуры, она не обращала внимания на эти духовные сокровища, ничего не делала и предпочитала колена своего мужа мягким креслам мистрисс Мовлем.

Она часто сиживала в том неприличном положении, которое так возмутило мисс и мистрисс Мовлем, и, отшатнувшись назад немного, подняв голову, пристально смотрела в спокойное, задумчивое лицо слепого человека.

— Лэнни, ты сегодня очень молчалив, — произнесла она. — О чем ты думаешь? Если ты мне расскажешь все свои мысли, я расскажу тебе свои.

— Ты действительно хочешь знать все мои мысли? — спросил Леонард.

— Да, все. Ты не должен скрывать от меня ничего. О чем ты теперь думаешь? Обо мне?

— Нет, не совсем о тебе.

— Это тебе стыдно. Разве я тебе наскучила в эти восемь дней? С тех пор, как мы здесь, я только о тебе и думаю. Ты смеешься! Ах, Лэнни, я тебя так люблю; могу ли я думать о ком-нибудь другом? Нет! Я не стану целовать тебя; я хочу прежде знать, о чем ты думаешь.

— Я думаю о том сне, который я видел в прошлую ночь. С тех пор, как я ослеп... Ты кажется

не хотела целовать меня, пока я не расскажу, о чем думаю!

— Я не могу целовать тебя, когда ты начинаешь говорить о своей слепоте. Скажи мне, Лэнни, облегчаю ли я тебе сколько-нибудь эту потерю? Ты был счастливее прежде; возвращаю ли я тебе хоть часть прежнего счастья?

Говоря это, она отворотила в сторону свое лицо; но это движение не ускользнуло от Леонарда; он осторожно поднял руку и коснулся ее щеки.

— Ты плачешь, Розамонда, — сказал он,

— Я плачу! — проговорила она веселым тоном. — Нет, мой друг, — продолжала она после паузы, — я не хочу обманывать тебя даже в таких пустяках. Мои глаза теперь должны служить нам обоим; во всем, в чем не может помочь тебе осязание, ты зависишь от меня. Могу ли я обмануть тебя, Лэнни? Да, я плакала, но немного. Я не знаю, как это случилось, но я, кажется, никогда не жалела тебя так, как в эту минуту... Но продолжай, что ты начал рассказывать, продолжай.

— Я начал говорить о том, что после того, как я потерял зрение, я заметил в себе весьма любопытную вещь. Я часто вижу знакомые места, встречаюсь с знакомыми людьми, говорю с ними и вижу выражение их лиц, но никогда я сам не представляюсь себе слепым, никогда мне не приходилось ходить ощупью.

— Что ж ты видел во сне, Лэнни?

— То место, где мы первый раз встретились, когда еще были детьми. Долина мне представлялась такой, как тогда; корни деревьев переплетались и вокруг них огромными кустами росла ежевика, слабо освещенная светом дождливого дня, пробивавшимся сквозь ветви деревьев. Пройдя вовнутрь долины, я видел болото, следы коровьих копыт и женских калош: потом мутную воду, собравшуюся от продолжительных дождей и бежавшую на другую сторону дороги. Здесь я увидел тебя, резвую девочку, покрытую грязью и водою, все было совершенно так, как в тот день; шубу и руки ты перепачкала, делая плотину через поток, и ты сердилась на свою няньку, которая хотела увести тебя домой. Все представлялось мне точь-в-точь так, как было тогда; только я сам не был мальчиком. Ты была маленькой девочкой, долина была в прежнем состоянии; но я сам представлялся себе взрослым человеком, таким, как теперь, только не слепым.

— У тебя прекрасная память, Лэнни, ты помнишь все мельчайшие подробности, хотя прошло уже столько лет; ты помнишь, какую я была ребенком. А помнишь ли ты, какую я была, когда ты видел, ах, Лэнни, одна мысль об этом разрывает мое сердце! — когда ты видел меня в последний раз?